

Детектив, судебная драма, большой роман
И ИСТОРИЯ НЕНАВИСТИ

дэвид гатерсон

снег на кедрах

*Недруг на острове
остается недругом
навсегда...*



Дэвид Гатерсон
Снег на кедрах

ООО "Эвербук"

1994

ББК 84(4Coe)6-44

Гатерсон Д.

Снег на кедрях / Д. Гатерсон — ООО "Эвербук", 1994

ISBN 978-5-00-580120-3

Маленький остров Сан-Пьедро изолирован настолько, что его обитатели не могут позволить себе заводить врагов. Они чтут традиции, а в их умах все еще живы воспоминания о войне. В 1954 году происходит трагедия – в водах залива Пьюджет-Саунд находят тело местного рыбака Карла Хейнэ. В убийстве обвиняют Кабуо Миямото, американца японского происхождения. За судебным процессом следят все жители острова, а освещает дело редактор местной газеты и ветеран войны Исмаил Чэмберс. Много лет назад у Исмаила был роман с японской девочкой Хацуэ, которая выросла вышла замуж за Каубо. В поиске справедливости журналист начинает собственное расследование, и ему предстоит сделать сложный выбор между чувствами и совестью.

ББК 84(4Coe)6-44

ISBN 978-5-00-580120-3

© Гатерсон Д., 1994
© ООО "Эвербук", 1994

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	9
Глава 3	14
Глава 4	18
Глава 5	27
Глава 6	34
Глава 7	41
Глава 8	50
Глава 9	59
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Дэвид Гатерсон

Снег на кедрах

Матери и отцу с признательностью

*Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу.
Тот дикий лес, дремучий и грозный,
Чей давний ужас в памяти несусу!*

Данте.

Божественная комедия¹

Гармония – такое же редкое явление, как попутный ветер в море.

Харви Оксенхорн.

Управление оснасткой

© Snow Falling on Cedars © 1994 by David Guterson

© ООО «Эвербук», Издательство «Дом Историй», издание на русском языке, 2023

Глава 1

Подсудимый Миямото Кабуо сидел неподвижно, гордо выпрямившись, едва касаясь ладонями стола, – весь его облик говорил о том, что он никак не соотносит себя с этим судебным процессом. На галерее потом по-разному объясняли непроницаемый вид подсудимого: одни считали, что этим он выражал свое презрение к суду, другие – что скрывал страх перед последующим приговором. Но что бы там ни говорили, Кабуо оставался невозмутим – даже ресницы не дрогнули. Он был в белой рубашке, застегнутой на все пуговицы, и серых, без единой складки брюках. Подсудимый держался подчеркнуто прямо, и все в его фигуре, особенно шея и плечи, говорило об исключительной физической силе. У него были темные глаза, гладкое худощавое лицо с заметно выдававшимися скулами, подчеркнутыми короткой стрижкой. Когда ему зачитывали обвинение, он сидел с невозмутимым видом, глядя прямо перед собой.

Все места на галерее были заняты, и все же ничто не напоминало ту возбужденную атмосферу, которая иногда присутствует во время суда над убийцей в сельской местности. Наоборот, все восемьдесят пять собравшихся вели себя до странности тихо и слушали внимательно. Большинство из них знали Карла Хайнэ – рыбака с женой и тремя детьми, похороненного на лютеранском кладбище на Индейском холме. Многие оделись с особой тщательностью, как на воскресную службу, а поскольку зал суда, каким бы мрачным он ни был, сопрягался в их душах с торжественностью дома богослужений, они и вели себя подобающим образом.

Зал, в котором председательствовал судья Льюэлин Филдинг, находился в самом конце сырого, продуваемого сквозняком коридора на третьем этаже здания окружного суда; это был самый обыкновенный зал, маленький и обшарпанный. В нем преобладали серые оттенки и унылая простота: тесная галерея, скамья для судьи, место для дачи свидетельских показаний, фанерная платформа для присяжных и потертые столы для подсудимого и его обвинителя. Присяжные старались выглядеть бесстрастными и напряженно вслушивались, пытаясь вникнуть в суть дела. Мужчины – двое фермеров, вышедший на пенсию ловец крабов, бухгалтер, плотник, строитель с верфи, зеленщик и чернорабочий с рыболовецкой шхуны – облачились в костюмы с галстуками. Женщины – пенсионерка, прежде работавшая официанткой, секретарша с лесопильного завода и две беспокойные жены рыбаков – надели выходные платья. Рядом в качестве запасного присяжного сидел парикмахер.

Судебный пристав Эд Сомс по просьбе судьи подпустил в едва дышащие радиаторы порядочно пара, и теперь они то и дело вздыхали по углам зала. Казалось, что из-за влажной духоты в воздухе повис кислый запах плесени.

В то декабрьское утро падал снег; четыре высоких узких арочных окна едва пропускали слабый зимний свет. Ветер с моря залеплял окна снежинками; они таяли и стекали по оконному переплету. Снаружи, вдоль побережья острова, протянулся городок Эмити-Харбор. На некоторых холмах острова стояли обветшалые, пострадавшие от непогоды викторианские особняки, пережитки утраченной эпохи морского владычества; они смутно виднелись сквозь снегопад. Над особняками круто возвышались кедры, раскинувшись неподвижным зеленым пологом. Снег скрадывал очертания этих кедровых холмов. Ветер с моря упрямо гнал снежинки на остров, бросая их на душистые деревья, и снег медленно, но верно оседал на верхних ветках.

Каким-то уголком сознания Кабуо следил за снегопадом. Он сидел в окружной тюрьме вот уже семьдесят семь дней, с конца сентября, а сейчас наступил декабрь. В подземной камере не было ни окон, ничего, откуда бы проникал осенний свет. Кабуо с грустью понял, что пропу-

стил осеннюю пору – она уже прошла, испарилась. Яростный, хлещущий снежинками по стеклу снегопад, за которым он наблюдал краем глаза, вдруг показался ему бесконечно красивым.

Сан-Пьедро был островом пяти тысяч отсыревших душ; название острову дали испанцы в 1603 году, когда сбились с курса и стали на якорь неподалеку от берега. Они, как и многие их соотечественники в те времена, отправились на поиски северо-западного пути. Экспедицию возглавлял Вискаино; лоцман, Мартин де Аквилар, послал на берег команду матросов, чтобы те срубили в зарослях гемлока у края воды ствол для рангоута. Едва только матросы сошли на берег, как их тут же убили охотники за рабами из индейского племени нутка².

Затем появились переселенцы – большей частью заблудшие души и чудачки, свернувшие с Орегонской тропы³. В 1845 году канадские британцы, не поделившие границу, устроили бойню, зарезав несколько свиней, однако с тех пор на острове Сан-Пьедро никакого насилия не происходило. Самым ужасным происшествием за последние десять лет стало огнестрельное ранение, которое получил один местный житель от яхтсмена из Сиэтла во время празднования Дня независимости в 1951 году.

Эмити-Харбор, единственный городок на острове, обслуживал причал, где швартовались сейнеры с кошельковыми неводами и одноместные шхуны с жаберными сетями. Этот приморский городок был не без причуд, его заливало дождями и обдувало ветрами – забытое богом, заплесневелое местечко с выцветшими вывесками и бурными от ржавчины канализационными трубами. На высоких обрывистых склонах ничего не росло; зимними ночами в сточных канавах с высокими бортиками бурлили дождевые потоки. Морской ветер частенько мотал единственный светофор из стороны в сторону или вызывал перебои с электричеством, на восстановление которого уходило несколько дней. На Главной улице городка находились зеленая лавка Петерсена, почта, магазин хозяйственных товаров Фиска, аптека Ларсена, магазин дешевых товаров, которым владела одна дама из Сиэтла, электростанция «Пьюджет Пауэр», свечная лавка, магазин одежды Лотти Опсвиг, агентство недвижимости Клауса Хартманна, кафе «Сан-Пьедро», ресторан «Эмити-Харбор» и издававшая виды заправочная братьев Торгерсонов, на ней же и работавших. Консервный завод у причала источал запах рыбы, а пропитанные креозотом сваи паромного причала, находившегося в ведении штата, торчали посреди флотилии заплесневелых шхун. Дождь, этот дух места, с завидным упорством подтачивал все то, что было сделано человеческими руками. Зимними вечерами ливневые потоки обрушивались на мостовые Эмити-Харбор, и городок становился невидимым.

Но остров, покрытый зеленью, не был лишен и привлекательности; его пейзажи настраивали местных жителей на поэтический лад. Куда ни глянь, всюду вздымались огромные холмы, украшенные мягкой зеленью кедров. Дома на острове отсыревали и покрывались мхом, выстроенные на отдаленных полях и в долинах, поросших люцерной, кормовой кукурузой и клубникой. Ухабистые дороги, кое-где обнесенные забором из кедра, пролегали под тенью деревьев мимо лугов с папоротником-орляком. На лугах паслись коровы, одолеваемые летом мошкаркой; от них сладковато пахло навозом. На обочине то тут, то там встречались кучи душистой стружки и кедровой коры, оставленные местными жителями, в одиночку пилившими бревна. Пляжи поблескивали гладкими камнями и морской пеной. Остров был изрезан парой десятков бухточек и узких заливов, откуда открывался приятный вид на стайки парусных шлюпок и летние домики; таких нетронутых мест на острове было великое множество.

В зале суда напротив четырех высоких окон установили стол, чтобы разместить всех съехавшихся на остров репортеров. Приезжие – трое из Беллингема, Анакортеса, Виктории и еще трое из Сиэтла – относились к происходящему без должного пиетета, столь заметного среди граждан на галерее. Репортеры сидели развалившись, подперев головы руками, и перешеп-

² Племя, жившее на озере Ванкувер (Канада) и северо-западе современного штата Вашингтон.

³ Дорога, сыгравшая важную роль в освоении свободных земель на Западе США в XIX веке.

тывались с видом заговорщиков. Радиаторы находились за самыми их спинами, и репортеры обливались потом.

Исмаил Чэмберс, репортер из местных, тоже вспотел. Ему был тридцать один год, это был высокий мужчина с суровым лицом и взглядом человека, побывавшего на войне. У него была только одна рука, левую ампутировали на десять дюймов ниже плечевого сустава, поэтому конец рукава пальто свисал, пристегнутый в локте. Исмаил чувствовал, что презрение и пренебрежение кучки заезжих газетчиков направлены на остров и его обитателей – граждан, сидевших на галерее. Разглагольствования газетчиков перемешивались с миазмами пота и духоты, вызывая некую вялость. Трое чуть ослабили узлы галстуков, еще двое сняли пиджаки. Они были репортерами, людьми, которых профессия сделала пресыщенными и невосприимчивыми, слишком поднаторевшими в окончательных оценках, чтобы сделать над собой усилие и соблюсти негласные условности, ожидаемые островом от приезжих с материка. Исмаил, будучи жителем местным, не хотел походить на них. Подсудимый Кабуо не был для него человеком чужим, они вместе учились в школе, и он не мог, как другие репортеры, скинуть пиджак перед Кабуо, которому предъявили обвинение в убийстве. Утром, без десяти девять, Исмаил говорил с женой подсудимого на втором этаже здания суда. Она сидела в коридоре на скамейке, спиной к сводчатому окну, как раз напротив закрытого кабинета юридического советника; по всему было видно, что женщина собирается с мужеством.

– Как ты? – спросил он ее, но вместо ответа она отвернулась. – Пожалуйста, Хацуэ, не молчи, – умоляюще сказал Исмаил.

Тогда она посмотрела ему в глаза. Уже потом, когда суд закончится, Исмаил решит, что темнота ее глаз заслонила собой всякие воспоминания о тех днях. Ему запомнилось, с какой тщательностью ее черные волосы были собраны в низкий пучок на затылке. Она не говорила с ним подчеркнуто холодно, не выказывала ненависти, но он все равно почувствовал отчужденность.

– Уходи, – прошептала она, хмуро глянув на него.

Исмаил потом так и не понял, что означал ее взгляд – упрек, печаль или боль.

– Уходи, – повторила Миямото Хацуэ и снова отвернулась.

– Зачем ты так? – взмолился Исмаил.

– Уходи.

– Хацуэ, не надо, – просил он ее.

– Уходи.

Теперь, сидя уже в зале суда, с испариной на висках, Исмаил испытывал неловкость оттого, что находится среди репортеров; он решил, что после утреннего перерыва сядет где-нибудь на галерею, где его никто не заметит. Пока же он сидел напротив окна, в которое ветер бросал снег, уже начавший засыпать улицы. Исмаил надеялся, что после сильного снегопада на остров опустится невероятная чистота зимы, такая редкостная и драгоценная, о которой у него с юности остались нежные воспоминания.

Глава 2

Первым свидетелем, которого в этот день вызвал обвинитель, был окружной шериф Арт Моран. Утром шестнадцатого сентября, в тот день, когда погиб Карл Хайнэ, шериф сидел в кабинете и занимался описью имущества, попросив новую стенографистку суда, миссис Элинор Доукс (теперь чопорно восседавшую пониже скамейки судьи и молча, с непреклонным видом записывавшую все сказанное), помочь в этом ежегодном мероприятии, которое возлагали на него окружные власти. Когда Абель Мартинсон, помощник шерифа, доложил по недавно приобретенной рации о том, что рыболовное судно Карла Хайнэ «Сьюзен Мари» замечено дрейфующим в заливе Белые Пески, шериф и миссис Доукс удивленно переглянулись.

– Абель доложил, что сеть вытравлена до конца и тянется за судном, – пояснил Арт. – Ну и я, что называется, сразу же заподозрил неладное.

– Судно двигалось? – спросил Элвин Хукс, обвинитель.

Одной ногой он опирался на возвышение, где находился свидетель, как будто они с Артом беседовали в парке у скамейки.

– Так сказал Абель.

– И сигнальные огни горели?

– Да, именно так.

– Что, прямо днем?

– Абель связался со мной утром, кажется, в половине десятого.

– Поправьте меня, если я ошибаюсь, – сказал Элвин Хукс. – По закону к девяти часам жаберные сети должны быть уже выбраны. Так?

– Так, – подтвердил шериф. – К девяти.

Обвинитель щегольски, по-военному крутанулся и, заложив руки за спину, совершил небольшой круг по воцеленному полу зала.

– И что же вы предприняли? – спросил он.

– Сказал Абелю, чтобы он оставался на месте. Там, где стоит. Что заеду за ним на катере.

– Вы не связались с береговой охраной?

– Решил повременить. Хотел для начала сам взглянуть.

Обвинитель кивнул:

– Это входит в ваши полномочия?

– Предварительный осмотр, – ответил Арт. – Считаю свои действия правомочными.

Обвинитель снова кивнул и бросил взгляд на присяжных. Ему понравился ответ шерифа – свидетель представал перед судом человеком высоких моральных качеств и добросовестным, а это было очень важно.

– Пожалуйста, расскажите суду обо всем, что вам известно, – попросил он шерифа. – Что произошло в день шестнадцатого сентября?

Шериф, глянув на обвинителя, мгновение колебался. Ему вообще свойственно было нервничать по всяким пустякам. Как-то само собой вышло, что он избрал профессию шерифа; хотя у него никогда не возникало такого желания, все же, к своему изумлению, он им стал. В темно-коричневой униформе, с черным галстуком и в начищенных ботинках, он чувствовал себя явно не в своей тарелке, ему было неудобно, он как будто вырядился на маскарад. Он был худощавого телосложения и особого впечатления не производил; обычно он не расставался с жевательной резинкой «Джуси фрукт», хотя сейчас и не жевал – по большей части из уважения

к американскому правосудию, которому всецело доверял, невзирая на отдельные недостатки этой системы. К пятидесяти он порядком облысел, а впалый, как будто от недоедания, живот теперь, похоже, совсем высох.

Волнуясь перед выступлением в суде, Арт всю ночь пролежал без сна. Вспоминая последовательность событий, он закрыл глаза, как будто видел сон...

Утром шестнадцатого сентября они с помощником сели на катер и направились к заливу Белые Пески. Три часа назад, в половине седьмого, начался прилив, и вода неуклонно прибывала. Она покрылась глазурью солнечного света, уже приятно гревшего спину. Ночью остров заволокло туманом, плотным, как вата. К утру неподвижно висевшие ядовитые испарения белесого цвета мягко разошлись, как по швам, и туман стал похож на широкие волны, зависшие над морем. Катер, направляясь к «Сьюзен Мари», вспенивал воду; вокруг плавали последние клочки тумана, испарявшегося при свете дня.

Абель, держа одну руку на рычаге мотора, а другую – на колене, рассказал Арту, что рыбак из Порт-Дженсен, Эрик Сьюертсен, Эрик-младший, проходил мимо «Сьюзен Мари», дрейфующей от южной стороны мыса Белые Пески с вытравленной сетью; Эрику показалось, что на борту никого нет. Уже давно рассвело, а ходовые огни все горели. Абель доехал до мыса и, пройдя на самый край пирса, посмотрел в бинокль. Действительно, «Сьюзен Мари» унесло приливной волной далеко в залив; тогда-то Абель и связался с ним по рации.

Через четверть часа они встали борт к борту с дрейфующим судном, и Абель заглушил мотор. Волны не было, и они легко поднялись на борт; Арт выбросил кранцы, и вдвоем с Абелем они закрепили причальные концы, надежно обмотав их вокруг стопоров на передней палубе.

– Да, все огни горят, – заметил Арт, ставя ногу на планшир. – Все до единого.

– А Карла-то нет, – ответил Абель.

– Похоже на то, – отозвался Арт.

– Кувыркнулся за борт, – сказал Абель. – Нутром чую.

Арт поморщился:

– Да не торопись ты так. Будем надеяться, что нет.

Он зашел за рубку и сощурился, глядя на ванты и опоры, на концы стабилизаторов. Красный и белый огни на мачте горели все утро; огни лова и лампочка на конце сети едва виднелись при свете дня. Пока Арт раздумывал над этим, Абель оттащил крышку трюма и позвал его.

– Нашел что? – спросил Арт.

– Глянь, – ответил Абель.

Они согнулись над квадратным отверстием трюма; на них пахло рыбой. Абель поводит фонариком по куче снулой, лежащей без движения рыбы.

– Кижуч, – определил Абель. – Десятков пять будет.

– Значит, успел-таки выбрать сеть, – рассудил Арт.

– Да уж.

Бывало, что и в штиль рыбаки гибли – проваливались в незакрытые трюмы и проламывали черепа. Арт слышал о таких случаях. Он снова оглядел рыб:

– Как думаешь, во сколько он вчера вышел?

– Не знаю... Может, в полпятого... в пять.

– А куда мог направиться?

– Мог вверх по Северной отмели, – предположил Абель. – А мог и по Судходному каналу. Или к мысу Эллиот. Там как раз была рыба.

Но все это шерифу было и без того известно. Сан-Пьедро жил и дышал лососем; места, где скрывались рыбные косяки, были постоянной темой для обсуждения. И все же произнесенное Абелем вслух возымело действие – в голове прояснилось.

Размышляя, они еще немного поглядели в трюм. Куча неподвижной рыбы вызывала у Арта необъяснимое беспокойство; он смотрел на нее и молчал. Затем поднялся с корточек, хрустнув суставами в коленях, и отвернулся от темного отверстия.

– Давай поищем еще, – сказал он помощнику.

– Давай, – откликнулся Абель. – Может, он в рубке? Ну как с ним случилось что?

«Сьюзен Мари» была тридцатифутовой шхуной с кормовой выборкой – обычным для Сан-Пьедро судном с жаберной сетью, рубка располагалась как раз посередине. Арт заглянул в рубку. Первое, что он заметил: посреди рубки на полу валялась жестяная кофейная кружка, опрокинутая набок. Справа от штурвала был электродвигатель. В рубке со стороны правого борта стояла небольшая койка, заправленная шерстяным одеялом; Абель провел по ней фонариком. Лампа над рулем горела; солнечные блики, проникавшие через окно, мерцали на стене. Такой образцовый порядок и звенящая тишина вызвали у Арта нехорошее предчувствие. Все оставалось неподвижным; только сигнальный буй в кожухе, подвешенный на проволоке над нактоузом, покачивался в такт судну. Не было слышно ни звука, лишь радио время от времени издавало приглушенный, как будто издавека, треск. Арт, заметив это, начал настраивать радиосвязь; он не знал, что еще можно сделать. Поиски зашли в тупик.

– Плохи дела, – рассудил Абель.

– Слушай, я тут вспомнил... Проверь спасательную шлюпку, – сказал Арт.

Абель выглянул из рубки:

– На месте.

Они переглянулись. Арт со вздохом присел на койку Карла Хайнэ.

– Может, под палубу подлез? – предположил Абель. – Вдруг какие неполадки с двигателем?

– Да я сижу над ним, – возразил Арт. – Как туда подлезешь, там же места нет.

– Значит, упал за борт, – рассудил Абель, качая головой.

– Скорее всего, – ответил шериф.

Шериф и помощник снова переглянулись.

– Может, подобрал кто? – предположил Абель. – Что-то случилось, Карл связался по радио и...

– Тогда бы судно не оставили, – перебил его Арт. – К тому же мы бы уже знали.

– Плохи дела, – повторил Абель.

Арт сунул в рот очередную пластинку жвачки; ему так хотелось, чтобы на его месте оказался кто-нибудь другой. Карл нравился Арту, он знал его семью, виделся с ними на воскресных службах. Рыбак происходил из рода, давно жившего на острове: дед, баварец, расчистил под клубнику тридцать акров превосходной земли в Центральной долине, отец тоже занимался клубникой до самой смерти в 1944-м, когда его хватил удар. Пока сын был на войне, мать, Этта Хайнэ, продала все тридцать акров семейству Юргенсенов. Все Хайнэ отличались трудолюбием и вели жизнь тихую и спокойную. Многие на Сан-Пьедро относились к ним хорошо. Арт вспомнил, что Карл служил канониром на «Кантоне», затонувшем во время вторжения на Окинаву. Он единственный из призванных с острова выжил и, вернувшись, занялся рыбным ловом.

На море русые волосы Карла приобрели рыжеватый оттенок. Он был огромным, особенно в груди и плечах. Зимой, когда Карл выбирал рыбу из сетей, на нем была шерстяная шапка, связанная женой, и потрепанная шинель пехотинца. Он не рассиживал в таверне и не попивал кофе. Воскресным утром он сидел с женой и детьми на задней скамейке в лютеранской церкви, моргая в тусклом свете святилища; огромные квадратные ладони держали книгу гимнов, а на лице отражалось спокойствие. Потом он возился со шхуной, в молчаливой сосредоточенности распутывая сеть или занимаясь ее починкой. Работал Карл в одиночку; с другими был вежлив, но не сердечен. Как и все рыбаки на Сан-Пьедро, он практически не снимал резино-

вых сапог. Его жена тоже происходила из рода, давно поселившегося на острове, – Варигов, вспомнил Арт, ее отец не так давно умер. Вариги заготавливали сено, резали гонт, возделывали несколько акров выкорчеванной земли на Коровьем мысе. Именем жены Карл назвал свое судно, а в 1948-м построил большой каркасный дом к западу от Эмити-Харбор, куда хотел перевезти и свою мать. Но та к сыну не поехала; поговаривали, что это она из гордости. Мать, полная, степенная женщина, говорившая с легким немецким акцентом, жила в самом городке, на Главной улице, занимая второй этаж над магазином Лотти Опсвиг, торговавшим одеждой. Каждое воскресенье сын звонил в ее дверь и сопровождал к себе на ужин. Арт видел, как они взбирались на Старый холм: Этта одной рукой сжимала зонт, закрываясь от зимнего дождя, а другой придерживала отвороты грубого пальто; Карл шагал, сунув руки в карманы, натянув шерстяную шапку до самых бровей. В общем-то, Карл Хайнэ был человеком неплохим, решил про себя Арт. Смеялся редко, это да, и вид у него был суровый, как у матери, но несчастным или чем-то недовольным он не казался. Смерть его тяжким грузом опустится на Сан-Пьедро, и мало кому захочется слишком уж задумываться об этом, ведь многие здесь зарабатывают на жизнь рыбным промыслом. Извечный страх перед морем, забываемый в суете повседневной островной жизни, снова поднимется в их душах.

– Ну что, выбираем сеть? – спросил Абель, заглянув в рубку; как раз в это время судно сдвинулось с места.

– Пожалуй, – вздохнул Арт. – Только вот что... Давай медленно, без спешки.

– Небось мощности не хватит, – заметил Абель. – Похоже, часов шесть без подзарядки. Да еще эти огни...

Арт кивнул и повернул переключатель рядом с рулем. Двигатель запнулся и заработал вхолостую, громко стуча под палубой. Арт постепенно заглушил его.

– Ну что? – сказал он. – Видал?

– Да, ошибка случилась, – признался Абель. – Двигатель в полном порядке.

Они вышли из рубки: сначала Арт, потом Абель. «Сьюзен Мари» сменила курс, дав небольшой крен правым бортом. Толчок двигателя встряхнул судно, и Арт, проходя через корму, споткнулся и едва успел схватиться за пиллерс, оцарапав руку у большого пальца; Абель в это время смотрел вперед. Арт поднялся, оперся для равновесия ногой о планшир и глянул на воду.

День разгорался; водная гладь теперь отливала серебром. Вокруг не было ни души, лишь вдоль заросшей деревьями береговой линии, на расстоянии в четверть мили, плыла байдарка, на веслах которой сидели дети в спасательных жилетах. Вот кто чист и невинен, подумалось Арту.

– Хорошо, что курс изменился, – заметил он помощнику. – Придется повозиться, пока втащим сеть.

– Я готов, ты только дай знать, – отозвался Абель.

У Арта мелькнула мысль, что неплохо бы помощника насчет кое-чего просветить. Абель, парень двадцати четырех лет, был сыном каменщика из Анакортеса. И видеть утопленников, попавших в сеть, ему еще не приходилось; Арт видел их дважды. И в штиль рыбаки, бывает, оказываются за бортом, зацепившись за сеть. Тут нет ничего необычного; Арт, как шериф, знал об этом. Он знал, что значит выбрать сеть, но знал также и то, что Абель ни о чем подобном не догадывается.

Арт поставил ногу поверх рычага и глянул на Абеля.

– Ты давай туда с лотлинем, – спокойно распорядился он. – Я включу на самую малую. Может, придется помочь вручную, так что будь наготове.

Абель кивнул.

Арт, нажав ногой на рычаг, включил лебедку. Сеть задрожала, натянулась, и барабан потащил ее, преодолевая сопротивление воды, завывая в разной тональности, то выше, то ниже.

Шериф и помощник стояли по обе стороны роульса планшира: Арт упирался ногой в рычаг, Абель смотрел на паутину сети, медленно поднимавшейся к барабану. Вытравленный на десять ярдов трос запрыгал в полосе бурлящей белой воды. Судно еще сносило приливом, но, подгоняемое дуновениями южного бриза, оно плавно вошло в гавань.

Шериф с помощником уже выбрали из сети две дюжины лосося, три случайно попавшие ветки, двух катранов, кольцо из длинных, закрученных спиралью бурых водорослей и несколько спутанных в клубок медуз, когда наконец мелькнуло лицо Карла Хайнэ. На мгновение Арт подумал было, в отчаянии надеялся, что оно ему привиделось – в море часто видятся миражи, – но сеть поднималась, и лицо Карла открылось целиком, а потом и заросшая бородой шея. Оно было повернуто вверх, и с волос серебристыми нитями сбегала вода; не оставалось никаких сомнений в том, что это лицо Карла с открытым ртом. Арт сильнее надавил на рычаг. Тело поднялось на поверхность целиком – Карл зацепился за сеть пряжкой прорезиненной робы, под прилипшей к груди и плечам футболкой перетекали пузыри морской воды. Он тяжело повис на сети, ногами в море; рядом бился застрявший в ячейках лосось. Кожа на ключицах, как раз там, куда не достала волна, блестела, приобретя холодный оттенок розового. Карла будто ошпарило в море кипятком.

Абель перегнулся через борт кормы; его вывернуло, он откашлялся, и его снова вывернуло, на этот раз сильнее.

– Ну все, все, Абель, – сказал ему Арт. – Давай возьми себя в руки.

Абель не ответил, вытирая рот платком. Тяжело дыша, он долго сплевывал в воду. Потом, опустив голову, стукнул кулаком по борту:

– Мать Божья!

– Я стану поднимать потихоньку, – ответил Арт. – А ты держи его голову подальше от кормы. Да возьми же себя в руки, Абель! И смотри за головой!

Но в конце концов пришлось поднять лотлинь и затянуть Карла в сеть целиком. Он как будто оказался в гамаке. Так они и подняли тело: Абель тащил сеть с помощью роульса, Арт осторожно жал на рычаг, искоса поглядывая за борт, зажав жвачку между зубов. Вместе они положили Карла на корме. В холодной соленой воде он быстро окоченел – правая нога не снималась с левой; руки, сцепленные на плечах, не размыкались, а пальцы так и остались скрюченными. Рот был открыт, глаза тоже распахнуты, но зрачков не видно – глаза закатились и теперь смотрели утопленнику в череп. Сосуды лопнули, и глазной белок покраснел.

Абель таращился на утопленника.

Арт чувствовал, что ведет себя совсем не так, как подобает шерифу. Вместе с помощником, совсем еще мальчишкой, он стоял и думал о том, о чем думает человек при виде такого зрелища, – об уродливой неотвратимости смерти. Повисла неуместная в такой момент тишина; Арт сознавал, что своими действиями должен подать помощнику пример. Но они стояли и молча смотрели на труп.

– Головой стукнулся, – прошептал Абель, показывая на рану среди светлых волос Карла Хайнэ; Арт ее и не заметил. – Вылетел за борт и стукнулся о планшир.

И в самом деле, как раз над левым ухом череп оказался пробит и виднелась дыра. Арт отвернулся.

Глава 3

Нельс Гудмундсон, адвокат, назначенный для защиты Миямото Кабуо, поднялся для перекрестного допроса Арта Морана. Движения его были медленными и натужными, по-старчески неуклюжими; он откашлялся и завел большие пальцы за подтяжки, там, где они пристегивались маленькими черными пуговками. Нельсу было семьдесят девять; его левый глаз почти не видел – мутный зрачок различал только свет и тень. Правый же, словно компенсируя дефект левого, казался необыкновенно зорким, наделенным даром предвидения. Пока Нельс шел, тяжело ступая по половицам зала и прихрамывая, блики света мерцали в его здоровом глазу.

– Доброе утро, шериф, – поздоровался он.

– Доброе утро, – ответил Арт.

– Я хотел бы прояснить для себя всего лишь пару моментов, – сказал адвокат. – Вы говорите, на борту «Сьюзен Мари» горели все огни, так?

– Да, – подтвердил шериф.

– И в рубке тоже?

– Да.

– А на мачте?

– Да.

– Огни лова, фонари на сети тоже?

– Да, сэр, – подтвердил Арт.

– Благодарю вас, – сказал адвокат. – Значит, горели все огни. Все до единого.

Он помолчал, изучая собственные руки, испещренные пигментными пятнами и временами дрожавшие из-за запущенной неврастении. Первым симптомом всегда было ощущение жжения, возникавшее в нервных окончаниях на лбу, которое потом сменялось сильной пульсацией височных артерий.

– Вы говорите, ночью пятнадцатого сентября был туман, – спросил Нельс. – Я вас правильно понял?

– Да.

– И туман густой. Так?

– Совершенно верно.

– Вы уверены?

– Да. Я тогда еще подумал об этом. Вышел на крыльцо около десяти и подумал, что уже с неделю не видал такого тумана. Видимость была не дальше двадцати ярдов.

– В десять часов?

– Да.

– А потом?

– Кажется, лег спать.

– Вы легли спать... А шестнадцатого... не помните, в котором часу встали?

– В пять. В пять часов.

– Это точно?

– Я всегда встаю в пять. Каждое утро. Так что шестнадцатого я тоже встал в пять.

– И что туман? Все еще не рассеялся?

– Нет.

– Такой же густой? Как в десять вечера?

– Почти. Но все же не такой густой.

– Значит, утром было еще туманно?

– Да, часов до девяти. Затем туман стал рассеиваться, и, когда мы сели в катер, его уже почти не было... если вы клоните к этому, сэр.

– До девяти... – повторил Нельс. – Или около того? До девяти?

– Именно так, – ответил Арт.

Нельс поднял подбородок, коснулся галстука-бабочки и щипнул обвисшую кожу на шее – он всегда так делал, когда размышлял.

– А на борту «Сьюзен Мари», – начал он, – двигатель сразу завелся? Никаких проблем не возникло?

– Да нет, – ответил Арт. – Завелся сразу.

– И это при том, что горели огни? И аккумулятор не сел?

– Видимо, нет. Потому что завели мы без проблем.

– А вам это не показалось странным, шериф? Что, несмотря на включенный свет, двигатель завелся, как вы сказали, без проблем?

– Да нет, не показалось, – ответил Арт. – По крайней мере, тогда.

– А сейчас? Сейчас кажется?

– Да, немного, – ответил шериф.

– Почему?

– Потому что огни забирают порядочно энергии. Надо думать, аккумулятор сел бы довольно быстро, все равно что в машине. Так что да, теперь мне это кажется странным.

– Да уж, – сказал Нельс и снова стал тереть шею, пощипывая складки.

Подойдя к столу с уликами, он взял папку и вернулся с ней к Арту.

– Ваш отчет о расследовании, – сказал он. – Тот самый, который прибавил к вещественным доказательствам мистер Хукс. Это ведь ваш отчет, шериф?

– Да.

– Вы не могли бы открыть его на седьмой странице?

Шериф открыл.

– На седьмой странице приведен список найденного на борту «Сьюзен Мари», шхуны, принадлежавшей Карлу Хайнэ. Не могли бы вы зачесть суду название предмета под номером двадцать семь? – попросил Нельс.

– Конечно, – ответил Арт. – Предмет номер двадцать семь. Запасной аккумулятор D-8, шесть элементов.

– Запасной аккумулятор D-8, шесть элементов, – повторил Нельс. – Благодарю вас. Значит, D-8. И шесть элементов. А теперь, шериф, найдите, пожалуйста, предмет номер сорок два. И зачитайте.

– Предмет номер сорок два, – прочел Арт. – Аккумуляторы D-8 и D-6 в аккумуляторном гнезде. По шесть элементов каждый.

– D-6 и D-8? – переспросил Нельс.

– Да.

– Я тут произвел кое-какие измерения, – сказал Нельс. – Так вот, D-6 на дюйм шире, чем D-8. И знаете, шериф, D-6 не поместился бы в гнездо «Сьюзен Мари». Не хватило бы целого дюйма.

– Карл Хайнэ кое-что придумал, – объяснил Арт. – Выбил боковую сторону.

– Выбил боковую сторону?

– Да.

– Вы сами видели?

– Да.

– Что, металлический фланец оказался выбит?

– Именно.

– Наверное, металл мягкий?

– Да, мягкий. Карл выбил фланец, чтобы вставить D-6.

– Чтобы вставить D-6... – повторил Нельс. – Но вы ведь сами говорили, шериф, что в запасе был D-8. Разве не мог Карл вставить его – тогда бы не пришлось проявлять такую изобретательность.

– Запасной сел, – ответил Арт. – Мы проверяли. В нем совсем ничего не осталось. Напрочь выдохся.

– Значит, запасной сел, – повторил Нельс. – Итак, вы обнаружили на судне покойного севший запасной D-8, рабочий D-8 в аккумуляторном гнезде и рядом рабочий D-6, который оказался слишком велик, и потребовались определенные усилия, чтобы вставить его. Пришлось выбить фланец из мягкого металла.

– Именно так.

– Хорошо, – сказал Нельс. – Теперь, шериф, откройте, пожалуйста, на странице двадцать семь. Прошу, зачитайте суду название предмета номер двадцать четыре.

Арт перевернул страницы.

– Предмет номер двадцать четыре, – немного помолчав, прочел он. – Два аккумулятора D-6 в аккумуляторном гнезде. По шесть элементов каждый.

– Два D-6 на шхуне Миямото Кабуо, – заметил Нельс. – А не встретился ли вам запасной, шериф?

– Нет. Запасного аккумулятора в описи нет.

– Значит, ответчик вышел в море без запасного аккумулятора?

– Выходит, так, сэр.

– Ну что ж, – произнес Нельс. – Два D-6 в аккумуляторном гнезде и без запасного аккумулятора. Скажите мне вот что, шериф. Эти D-6 на борту шхуны ответчика... они были такими же, что и D-6 на шхуне покойного? Размер, марка...

– Да, – ответил шериф. – Все аккумуляторы D-6 были одинаковы.

– Значит, D-6 на борту шхуны покойного – чисто теоретически – мог запросто оказаться запасным аккумулятором со шхуны ответчика?

– Вполне.

– Но, как вы уже сказали, на борту шхуны ответчика запасного аккумулятора не нашлось. Так?

– Так.

– Хорошо, шериф. Если не возражаете, я спрошу вас еще кое о чем. Скажите, вы не испытывали никаких затруднений, когда вытаскивали покойного из воды? Из рыболовной сети?

– Да, трудности были, – ответил Арт. – То есть я хочу сказать, что покойный оказался очень тяжелым. И еще... ноги все время норовили соскользнуть. Покойный зацепился за сеть пряжкой. Мы боялись, что если потянем его, то он сорвется – пряжка отскочит, или материя под ней порвется. Дело в том, что ноги у него не были запутаны, они свободно плавали в воде.

– И что же вы с помощником предприняли? – поинтересовался Нельс.

– Ну, мы обернули сеть вокруг тела. А потом уже потянули за лотлинь. Соорудили из сети что-то вроде колыбели, поймав его ноги. Так и вытащили.

– Значит, трудности у вас были, – сделал вывод Нельс.

– Да, небольшие.

– И что, вы сразу вытащили тело?

– Нет. Пришлось оборачивать сеть рывками. Но как только обернули, то сразу вытащили.

– Шериф, – обратился к Арту адвокат. – Вы говорите, что приходилось оборачивать сеть рывками... Не мог ли покойный, пока вы поднимали его, удариться головой о борт? Или что-нибудь еще? Скажем, о кормовой планшир или роульс? Возможно ли такое?

– Не думаю, – ответил Арт. – Я бы заметил.

– Значит, не думаете... – сказал Нельс. – Ну, а когда выпутывали его из сети? Когда клали на палубу? Вы говорите, Карл был тяжелым, двести тридцать пять фунтов, да к тому же окоченел в воде. Испытывали ли вы трудности такого рода, шериф?

– Да, тело было тяжелым, и даже очень. Но нас было двое, и действовали мы очень аккуратно. Так что тело ни обо что не ударялось.

– Вы уверены?

– Даже не припомню, чтобы задела телом обо что-то. Действовали мы очень аккуратно.

– Однако вы не помните наверняка, – возразил Нельс. – Иными словами, у вас есть какие-либо сомнения на этот счет? Возможно ли, шериф Моран, что, перемещая тяжелое тело, управляя лебедкой, механизмом, для вас незнакомым, и вообще с трудом затаскивая утонувшего человека весом в двести тридцать пять фунтов, возможно ли, что в процессе этого вы недосмотрели и покойный ударился головой? Уже после смерти? Возможно ли такое?

– Да, – ответил Арт. – Думаю, возможно, однако маловероятно.

Нельс обернулся к присяжным.

– Вопросов больше нет, – сказал он.

И вернулся на место рядом с подсудимым, наблюдавшим за ним. Нельс шел медленно и от этого испытывал неловкость, потому что в молодости, отличаясь гибкостью и спортивным телосложением, легко пересекал зал суда и чувствовал на себе восхищенные взгляды окружающих.

Глава 4

Без четверти одиннадцать судья Филдинг объявил перерыв. Он обернулся, глядя на тихо падающий снег, и потер седеющие брови и кончик носа. На нем была черная мантия; он поднялся, провел руками по волосам и, тяжело ступая, направился в свой кабинет.

Нельс Гудмундсон шептал что-то на ухо подсудимому Миямото Кабуо; тот отклонился вправо и едва заметно кивнул. Через несколько рядов сидел Элвин Хукс, подперев ладонями подбородок и выстукивая по полу каблуком; всем своим видом он выражал нетерпение, но не разочарование. Публика на галерее встала, позевывая; одни, спасаясь от отупляющей духоты, побрели в коридор, другие со смешанным чувством страха и удивления глядели на косой снег, залепивший окна. В белесом декабрьском свете их лица казались спокойными, какими-то благоговейными. Те, кто приехал на машинах, с раздражением думали о том, как будут добираться домой.

Эд Сомс отвел присяжных попить тепловатой воды из стаканчиков и показал, где находится туалет. Потом вернулся в зал и тяжелой походкой церковного сторожа начал обходить радиаторы, закручивая вентили. Но в зале все равно было слишком душно – нагретый воздух никак не рассеивался. Пар начал оседать тонкой дымкой в верхней части окон, затемняя зал суда, заглушая бледный утренний свет.

Исмаил Чэмберс нашел место на галерее и сел, постукивая резинкой на карандаше по нижней губе. Как и все жители Сан-Пьедро, он узнал о смерти Карла Хайнэ 16 сентября, в тот день, когда нашли тело. Исмаил звонил преподобному Гордону Гроувзу из лютеранского прихода насчет темы воскресной проповеди для колонки «В церквях нашего острова», которую раз в неделю помещал в «Сан-Пьедро ревю» рядом с расписанием паромов Анакортеса. Преподобного он не застал, однако его жена Лиллиан рассказала Исмаилу, что Карл Хайнэ утонул, запутавшись в собственной сети.

Исмаил ей не поверил – у Лиллиан Гроувз была репутация сплетницы. Он повесил трубку, но слова Лиллиан не шли у него из головы. Все еще не веря, он позвонил шерифу и спросил у Элинор Доукс, которой, впрочем, тоже не доверял. Да, ответила она, Карл Хайнэ утонул. Да, в море. Нашли в собственной сети. Шериф? Нет, сейчас его нет. Скорее всего, у коронера.

Исмаил тут же позвонил Горацию Уэйли, коронеру. Да, подтвердил Гораций, придется поверить. Карл Хайнэ мертв. Ужасно, правда? А ведь с Окинавы вернулся... Да, Карл Хайнэ... просто не верится. Ударился обо что-то головой.

– Шериф? – переспросил Гораций. – Недавно был. Только-только с Абелем вышли. Сказали, что едут в доки.

Исмаил повесил трубку и сел, подперев рукой лоб; он вспомнил, как они учились с Карлом в старших классах. Оба окончили школу в 1942-м. Играли в одной футбольной команде. Исмаил вспомнил, как однажды, осенью 1941-го, они ехали всей командой на автобусе на встречу с беллингемцами. Ехали в форме, со шлемами на коленях, каждый держал свое полотенце. Исмаил помнил Карла с полотенцем, обернутым вокруг толстой немецкой шеи; тот глядел в окно на поля. Быстро опускались ноябрьские сумерки. Карл смотрел на заросшие низкорослой пшеницей поля, куда прилетали на зимовку дикие арктические гуси. Наклонив голову, он выставил квадратный подбородок; у него уже пробивалась светлая щетина.

– Слышь, Чэмберс... – сказал он Исмаилу. – Гусей видишь?

Исмаил сунул блокнот в карман брюк и вышел на улицу. Он не стал запирасть офис – три комнаты, бывший книжный магазин, от которого остались многочисленные настенные полки. Магазин в конце концов оказался убыточным, а все из-за крутого склона Холмистой улицы, на который редко взбирались туристы. Однако именно это Исмаилу и нравилось. Вообще-то он был вовсе не против отпускников из Сиэтла, все лето отдыхавших на Сан-Пьедро, – большинство островитян их недолюбливали, потому что те были городскими жителями, – однако, с другой стороны, он не испытывал особой радости, глядя, как они бродят туда-сюда по Главной улице. Туристы напоминали ему о том, что есть и другие места, и он начинал сомневаться в том, что поступил правильно, оставшись на Сан-Пьедро.

Но так было не всегда. Когда-то он был твердо уверен в том, где хочет жить. После войны он, двадцати трех лет и с ампутированной рукой, без сожалений оставил Сан-Пьедро, чтобы поступить в университет Сиэтла. Поначалу Исмаил выбрал исторический факультет; поселился он в пансионате на Бруклин-авеню. Нельзя сказать, чтобы он был тогда так уж счастлив, но тут он ничем не отличался от других ветеранов. Исмаил все время помнил о пристегнутом булавкой пустом рукаве, и это смущало его, потому что смущало других. Они невольно обращали внимание – обращал и он. Одно время Исмаил заходил в бары рядом с кампусом и напускал на себя вид человека веселого и общительного, подражая студентам младше себя. Но после неизбежно чувствовал себя дураком. Не в его обычае было пить пиво и играть в бильярд. Гораздо привычнее было сидеть в дальнем углу ресторанчика, смаковать кофе и читать историю.

Следующей осенью Исмаил стал изучать американскую литературу: Мелвилла, Готорна, Твена. Он с предубеждением ждал встречи с «Моби Диком» – целых пятьсот страниц, и все о чем? о погоне за китом? – однако роман оказался занимательным. Исмаил прочитал его за десять дней, сидя в ресторанчике; еще в самом начале книги он задумался о природе кита. Оказалось, что рассказчик в романе носит его, Исмаила, имя. Этот герой Исмаилу понравился, но вот с Ахавом он так и не примирился, что в конце концов принизило достоинства романа в глазах Исмаила.

«Гекльберри Финна» Исмаил читал еще в детстве и мало что помнил. Запомнилось только, что тогда книга показалась ему забавнее, тогда все было забавнее, однако сам сюжет он не помнил. Другие со знанием дела распространялись о книгах, прочитанных десятки лет назад. Исмаил подозревал, что это все притворство. Иногда он думал над тем, что случилось с книгами, которые он когда-то давным-давно читал, – может, они все еще где-то внутри него? Джеймс Фенимор Купер, Вальтер Скотт, Диккенс, Уильям Дин Хауэллс... Вряд ли, ведь он их не помнит.

«Алую букву» Исмаил прочел за шесть дней. Он дочитывал, когда заведение уже закрывали. Из-за хлопающих дверей вышел повар и сказал, что они закрываются. Исмаил как раз читал последнюю страницу; слова «На черном поле алая буква „А“» он дочитывал уже на улице, стоя на тротуаре. Что бы это значило? Оставалось только догадываться, даже сноска ничего не проясняла. Люди спешили мимо, а он стоял с раскрытой книгой, и порывистый октябрьский ветер дул ему в лицо. Такое окончание истории Хестер Принн взволновало его; женщина, в конце концов, заслуживала лучшего.

Ладно, подумал Исмаил, книги – штука, конечно, замечательная, да только ими не прокормишься. И перевелся на отделение журналистики.

Его отец Артур в возрасте Исмаила работал лесорубом. У него были роскошные усы; в высоких, до икр, прорезиненных сапогах, потрепанных подтяжках и длинных шерстяных бриджах отец трудился на лесопилке больше четырех лет. Дед Исмаила был пресвитерианином, бабка – истовой ирландкой из семейства, жившего на болотах выше озера Лох-Ри; они познако-

мились в Сиэтле за пять лет до Великого пожара⁴, поженились и вырастили шестерых сыновей. Только Артур, самый младший, остался в Пьюджет-Саунд⁵. Двое его братьев стали солдатами, еще один умер от малярии на Панамском канале, другой работал таможенным инспектором в Бирме и Индии, а еще один в семнадцать отправился к восточному побережью, и с тех пор о нем больше не слышали.

Идея издавать «Сан-Пьедро ревью», еженедельник на четырех страницах, пришла Артуру в начале 1920-х. На свои сбережения он приобрел печатный станок, фотоаппарат с ящиком и снял сырое, с низкими потолками помещение в конце рыбного склада. Первый выпуск вышел с заголовком: «Суд оправдал Джилла из Сиэтла». Толкаясь среди репортеров из «Стар», «Таймс», «Ивнинг пост», «Дейли колл» и «Сиэтл юнион рекорд», Артур освещал суд над мэром Хирамом Джиллом, замешанным в скандале со спиртным. Он напечатал большую статью о Джордже Вандевеере, адвокате-шарлатане, защищавшем Уоббли в дискуссиях по поводу резни в Эверетте⁶; в статье звучал призыв мыслить здраво, в то время как Вильсон⁷ ратовал за объявление войны. Еще Артур написал о паромной переправе, недавно протянувшейся еще дальше, до подветренной стороны острова. Было сообщение о собрании Общества любителей рододендронов, а также о вечере танцев на площади и рождении у Горация Марчеса с Коровьего мыса сына Теодора Игнатиуса. Все эти материалы Артур набирал жирным шрифтом «Центурион», устаревшем еще в 1917-м; семь колонок и подзаголовки с толстыми рельефными засечками разделяли тоненькие волосяные линии.

Вскоре Артура призвали в армию генерала Першинга. Он воевал в Сен-Мишель⁸ и лесу Белло⁹, а потом вернулся домой, к своей газете. Женился на жительнице Сиэтла из рода Иллини, блондинке с волосами цвета кукурузного зерна, стройной, с карими глазами. Ее отец, владевший в Сиэтле галантерейным магазином на Первой авеню, а также занимавшийся перекупкой недвижимости, отнесся к Артуру с недоверием. Для него Артур был лесорубом, корчащим из себя репортера, человеком бесперспективным и недостойным дочери. Свадьба все же состоялась, и молодая семья начала усердно трудиться над производством потомства. Но в результате появился только один ребенок, второй умер во время родов. Они построили дом на Южном пляже с видом на море и расчистили дорожку к берегу. Артур превратился в завязатого огородника, заправского наблюдателя островной жизни. В их маленьком городке он стал газетчиком в полном смысле: силой своего слова воздействовал на одних, других делал знаменитыми, третьим помогал. Много лет отец работал без передышки. В канун Рождества, перед выборами и на День независимости он печатал дополнительные выпуски. Исмаил помнил, как во вторник вечером они с отцом становились за печатный станок. Отец укрепил машину на полу корабельного склада на улице Андреасона – обветшалого сарая, пропахшего литографской краской и аммиаком. Печатный станок был огромным, зеленовато-желтого цвета хитрым приспособлением из валиков и роликов транспортера, заключенных в чугунный корпус; сначала он трогался неуверенно, как локомотив из девятнадцатого века, а разогнавшись, пронзительно визжал и жалобно ныл. Обязанностью Исмаила было устанавливать матрицы и увлажняющие аппараты и вообще быть на подхвате. Отец, за долгие годы привыкший к машине, сновал туда-сюда, проверяя печатные формы и цилиндры, и стоял совсем близко от стучащих валиков. Видно было, что он совсем забыл, как сам же и внушал сыну: стоит только

⁴ Пожар 1889 года, когда город практически полностью сгорел, но потом был восстановлен.

⁵ Узкий залив Тихого океана на северо-западе штата Вашингтон.

⁶ Город на северо-западе штата Вашингтон, к северу от Сиэтла.

⁷ Вильсон Вудро – 28-й президент США (1913–1921); стал инициатором вступления США в Первую мировую войну.

⁸ Деревня на северо-востоке Франции, где во время Первой мировой войны американцы начали боевые действия под командованием генерала Першинга.

⁹ Лесистая территория на севере Франции, где в июне 1918 года проходили тяжелые бои, в результате которых была одержана победа над немцами. Сейчас там находится кладбище с американскими солдатами, павшими в бою.

попасть рукавом под пресс, как вмиг разбрызгает по стенам. Даже костей не соберешь, только и найдут, что полоски белых конфетти среди заляпанных газет.

Группа бизнесменов из Торговой палаты пыталась уговорить Артура баллотироваться в законодательные органы штата Вашингтон. Как-то они пришли к нему домой в пальто и клетчатых шарфах, густо намаженные и надушенные; он угостил их рюмкой смородинового ликера. От предложения же этих джентльменов из Эмити-Харбор он отказался, сказав, что не питает на сей счет никаких иллюзий, что лучше уж будет оттачивать свой слог да обрезать шелковичные изгороди. Он был в полосатой рубашке, рукава которой, засученные до локтей, открывали волосатые руки; мускулистая спина туго обхвачена подтяжками. На носу низко сидели круглые очки в тонкой стальной оправе, своей хрупкостью составлявшие приятный контраст выразительно очерченной челюсти. Нос слегка кривился после перелома, случившегося из-за хлесткого удара каротажным кабелем зимой 1915 года. Бизнесмены не решились спорить с таким человеком, у которого всегда гордо поднята голова. Пришлось им уйти ни с чем.

Артур, преданный профессии и соблюдавший ее принципы, с годами приобрел привычку говорить и действовать обдуманно и не отходить от правды в заметках даже самого легкомысленного содержания. Отец запомнился сыну щепетильностью в вопросах нравственности, и, хотя Исмаил стремился к тому же, ампутированная рука, это наследие войны, мешала ему. Плечо Исмаила несло в себе изъяз; оно было своего рода черной шуткой, двусмысленностью, которую понимал только он. С тех пор Исмаилу многие и многое не нравилось. Он стал таким помимо собственной воли, и тут уж ничего не поделаешь. Он, ветеран, страдал от своего цинизма, цинизма человека, побывавшего на войне. Ему казалось, что именно после войны мир сильно изменился. И невозможно было объяснить, почему вдруг все обернулось сплошной бессмысленностью. Люди виделись ему невероятно глупыми – живые оболочки, наполненные студнеобразной массой, кишками и жидкостями. Ему приходилось видеть внутренности вспоротых мертвецов; он знал, к примеру, на что похожи мозги, вытекающие из головы. И в сравнении с этим явления нормальной жизни казались ему до ужаса нелепыми. Исмаил обнаружил, что совсем незнакомые люди раздражают его. Если кто во время урока обращался к нему с вопросом, он отвечал коротко и сухо. В нем никогда не было уверенности, что окружающих не смущает его отсутствующая рука и они действительно говорят то, что думают. Он ощущал их стремление посочувствовать, и это раздражало его еще больше. Отсутствие руки уже само по себе было неприятно, а ему так и вовсе казалось отвратительным. Он мог бы оттолкнуть от себя других, если бы появлялся в классе в рубашке с коротким рукавом, открывавшей обрубок со шрамом. Однако он никогда не делал этого. Он совсем не хотел никого отталкивать. И все же людская суета теперь казалась ему сущей нелепицей, не исключая и собственные потуги, а своим существованием в этом мире он лишь нервировал других. Исмаил, как ни старался, не мог избавиться от такого безрадостного взгляда на жизнь и лишь молча страдал.

Потом уже, когда Исмаил стал старше и вернулся на Сан-Пьедро, его взгляды поуменьлись. Он искусно маскировал их под личиной сердечности ко всем и каждому. К цинизму воевавшего и получившего ранение прибавился неизбежный цинизм человека повзрослевшего, а с ним и цинизм, свойственный журналисту. Постепенно Исмаил привык видеть себя как однорукого мужчину за тридцать и неженатого. Это было не так уж и плохо, и он уже не раздражался так, как в Сиэтле. И все же оставались эти туристы, думал он, спускаясь по Холмистой улице к докам. Все лето они таращились на его пристегнутый рукав, чего уже давно не делали островитяне. Глядя на молочно-белые, чистые лица приезжих, Исмаил чувствовал, как внутри помимо его воли поднимается желчное раздражение. А ведь ему хотелось любить всех и каждого. Только он не знал, как это сделать.

Матери было пятьдесят шесть; она жила в южной части острова, одна в старом доме, том самом, где прошло детство Исмаила. Когда Исмаил вернулся из Сиэтла, мать сказала ему, что

цинизм его, хотя и понятен, совсем ему не к лицу. У отца, сказала она, он тоже был и тоже не шел ему.

– Отец всем сердцем любил человечество, но ему мало кто нравился из окружающих, – говорила она Исмаилу. – И ты такой же – весь в отца.

Когда Исмаил подошел к докам, шериф, опершись ногой о сваю, беседовал с рыбаками. Рыбаки собрались перед шхуной Карла Хайнэ, пришвартованной между «Эриком Джей» и «Торденшёльдом» – первое судно, с носовой выборкой, принадлежало Марти Юхансону, второе было сейнером с кошельковым неводом, из Анакортеса. Исмаил направился в их сторону; в это время подул южный бриз – и заскрипели причальные концы «Передового», «Провидения», «Океанического тумана» и «Торвангера», обычных шхун с жаберными сетями. «Таинственная дева», шхуна для лова палтуса и сайды, в последнее время барахлила, и ее как раз поставили на ремонт. Корпусную сталь по правому борту сняли, двигатель разобрали, рядом лежали коленчатый вал и вкладыши нижней головки шатуна. У носовой части шхуны громоздилась куча трубной арматуры, валялись два ржавых дизельных двигателя, осколки зеркального стекла и корпус электродвигателя, на который были составлены пустые банки из-под краски. Ниже, на воде, как раз на уровне прибитого к докам обрывка дерюги, защищавшего отбойный брус, расплывалось блестящее маслянистое пятно.

Чаек в этот день было полным-полно. Обычно они промышляли около консервного завода, но сейчас сидели на поплавах или буйках, точно вылепленные из глины изваяния. Иногда чайки качались на приливной волне, а временами взмывали вверх и вертели головами, ловя ветер. Бывало и так, что птицы садились на оставленные без присмотра суда, выискивая на палубе объедки. Рыбаки иной раз палили по чайкам утиной дробью, но обычно птицы свободно хозяйничали в доках – все было заляпано их сероватым пометом.

Бочку с нефтью перевернули уже давно, еще до того, как поставили «Сьюзен Мари»; теперь на ней сидели Дейл Миддлтон и Леонард Джордж в промасленных комбинезонах механиков. Ян Сёренсен облокотился о сбитый из клееной фанеры мусорный контейнер; Марти Юхансон стоял в заправленной футболке, широко расставив ноги и сложив руки на открытой груди. Рядом с шерифом был Уильям Юваг с сигаретой в руке. Помощник шерифа забрался на носовой планшир «Сьюзен Мари»; болтая ногами, он слушал рыбаков.

Рыбаки Сан-Пьедро тогда выходили в море уже в сумерки. Большинство ловили рыбу жаберными сетями: они бороздили пустынные воды и бросали сети там, где косяками шел лосось. Сети зависали в темной воде, и рыба попадалась в них.

Рыбак коротал ночные часы в тишине, покачиваясь на волнах и терпеливо ожидая. Привыкнуть к этому невозможно, надо было родиться таким, иначе надеяться на успех не приходилось.

Иногда лосось шел в таких узких местах, что рыбакам приходилось ловить на виду друг у друга, из-за чего возникали стычки. Один, опередивший другого, бросал сеть выше по течению; тогда обойденный проходил борт о борт с обидчиком, потрясая гафелем и кляня вора на чем свет стоит. Перебранки в море случались, но чаще рыбак целую ночь рыбачил один и ему не с кем было ругаться. Некоторые, попробовав ловить в одиночку, бросали это дело и вливались в команды сейнеров с кошельковыми неводами или переходили на ярусный лов палтуса. Постепенно Анакортес, городок на материке, перетянул к себе большие суда с командами от четырех человек и больше, в то время как Эмити-Харбор приютил суденышки с жаберными сетями, управляемые в одиночку. На Сан-Пьедро этим гордились, ведь мужчины острова отваживались выходить на лов даже в ненастье. И со временем среди островитян укрепилось такое мнение, что лов в одиночку почетнее всего; сыновьям рыбаков снилось, как они выводят свою шхуну в открытое море и в сеть им попадает лосось невероятных размеров.

Так на Сан-Пьедро закрепился образ настоящего мужчины – молчаливого трудяги, в одиночку выходящего на лов. Тот же, кто отличался излишней общительностью, слишком много

болтал и не прочь был послушать других, посмеяться с ними, тот не обладал необходимыми качествами. Лишь вступивший в схватку с морской стихией в одиночку мог рассчитывать на признание других.

Мужчины на Сан-Пьедро отличались молчаливостью. Правда, иногда, заходя в доки уже на рассвете, они делились друг с другом новостями, и это было для них огромным облегчением. Усталые и все еще занятые, они стояли на палубах и говорили о том, что произошло за ночь и что было понятно им одним. Такой задушевный разговор, обнадеживающие голоса других, относившихся с доверием к их собственным вымыслам, смягчали рыбаков, когда те возвращались домой к женам. Словом, это были одинокие люди, чей характер сложился под влиянием островной географии; временами у них возникало желание поговорить, но осуществить его они не умели.

Приближаясь к группе рыбаков, Исмаил знал, что не вхож в это братство, более того, он зарабатывает на жизнь словами и тем подозрителен им. С другой стороны, у него преимущество калеки и человека, побывавшего на войне, чей опыт всегда остается загадкой для непосвященных. Последнее имело ценность в глазах суровых рыбаков и могло перевесить их недоверие к нему, словесному манипулятору, целый день проводящему за печатной машинкой.

Рыбаки кивнули ему и, чуть подвинувшись, пустили в свой круг.

– Слыхал? – спросил Исмаила шериф. – Небось уже побольше моего знаешь?

– Верится с трудом, – ответил Исмаил.

Уильям Юваг сунул сигарету в зубы.

– Такое случается, – буркнул он. – С рыбаками такое случается.

– Да уж, – отозвался Марти Юхансон. – Но вот ведь надо ж... – Он мотнул головой и покачался на каблуках.

Шериф переменял ногу, опирающуюся о сваю, и положил локоть на колено.

– Был уже у его жены? – спросил Исмаил.

– Был, – ответил Арт.

– Трое ребят... – сказал Исмаил. – Что она теперь будет делать?

– Даже не знаю, – ответил шериф.

– Что сказала-то?

– Да ничего.

– Ну а что тут скажешь? Что скажешь-то? – вмешался Уильям. – Господи!

Исмаил понял, что журналисты у Ювага не в чести. Юваг был загорелым рыбаком с большим пузом и в татуировках; мутный взгляд выдавал в нем любителя джина. Пять лет назад от Ювага ушла жена, и он жил на своей посудине.

– Извини, Юваг, – сказал Исмаил, ища примирения.

– Извини, извини... – проворчал Юваг. – Да иди ты, Чэмберс!

Все засмеялись. Это Юваг не со зла, это он так... в шутку, догадался Исмаил.

– И что же случилось? – поинтересовался Исмаил у шерифа.

– Именно это я и пытаюсь выяснить, – ответил Арт. – Как раз об этом-то мы тут и толкуем.

– Арт выясняет, где мы все рыбачили, – пояснил Марти. – Он...

– Все мне не нужны, – перебил рыбака шериф. – Я хочу знать, куда прошлой ночью вышел Карл. Кто видел его или говорил с ним в последний раз. Вот что мне нужно, Марти.

– Я видел, – подал голос Дейл Миддлтон. – Мы вместе выходили из залива.

– Так уж и вместе? Скорее, это ты за ним вышел. Ведь как пить дать вышел, а? – усмехнулся Марти.

Рыбаки помоложе, вроде Дейла, обычно подолгу сидели в кафе «Сан-Пьедро» или ресторане «Эмити-Харбор», пытаясь выудить ценные сведения. Они все выпрашивали, куда поплывет рыба, как вчера шел лов да где именно. Рыбаки опытные и удачливые вроде Карла Хайнэ не обращали на таких никакого внимания. Вот и получалось, что молодежь пристраивалась к

ним в хвост и сопровождала до рыбного места – мол, не хочешь говорить, сами выследим. В туманную ночь преследователям Карла Хайнэ приходилось идти совсем близко; чтобы не упустить из виду источник сведений, они включали радиосвязь – неудачники настраивались друг на друга в надежде разузнать хоть что-то. Самые уважаемые рыбаки, согласно установившейся на Сан-Пьедро традиции, никого не выслеживали, а радиосвязь не включали. Время от времени к ним приближались, но, узнав, тут же разворачивались, понимая, что у этих разжиться нечем. Кто-то делился сведениями о рыбных косяках, кто-то – нет. Карл Хайнэ принадлежал к числу последних.

– Ну ладно, что было, то было, – признался Дейл. – А что вы хотите – к парню рыба так и шла!

– Когда это было? – спросил шериф.

– Где-то в половине шестого.

– А позже его кто-нибудь видел?

– Ага. У Судоходного канала. Народу там было – тьма. За кижучем шли.

– Прошлой ночью был туман, – заметил Исмаил. – Наверняка вы шли близко.

– Нет, – ответил Дейл. – Я просто видел, как он выбрасывал сеть. Еще до тумана. Может, в полвосьмого. Или в восемь.

– Я тоже его видел, – заговорил Леонард Джордж. – Он вытравил сеть до упора. И ловил на отмени.

– Когда это было? – спросил шериф.

– Рано, – ответил Леонард. – В восемь.

– А позже его никто не видел? После восьми?

– Да меня и самого в десять там уже не было, – рассказывал Леонард. – Не поймал ни рыбешки. Ну и пошел к мысу Эллиот, совсем тихо пошел. Туман был, приходилось то и дело гудок включать.

– Я тоже, – подтвердил Дейл. – Многие снялись оттуда, не стали долго выжидать. А как ушли – наткнулись на косяк Марти. – Дейл ухмыльнулся. – И подвезло же нам тогда.

– Карл тоже пошел к Эллиот-Хед? – спросил шериф.

– Я не видал, – ответил Леонард. – Да наверняка и не скажешь. Уж больно густой был туман.

– Вряд ли Карл снялся, – рассудил Марти. – Не в его привычках было бегать. Уж если он где выбрал место, то там и оставался. Может, поживился чем на Судоходном. А впереди я его не видал, нет.

– Я тоже, – подхватил Дейл.

– Но на Судоходном-то вы его видели, – напомнил шериф. – Кто еще там был?

– Кто еще? – переспросил Дейл. – Да разве ж всех упомнишь. Там десятка два судов было, если не больше.

– Густой туман, – сказал Леонард. – Гуще не бывает. Ни черта не видать.

– И все же кто был? – повторил вопрос шерифа Арт.

– Ладно, – сдался Леонард, – попробую вспомнить. «Касилоф», «Островитянин», «Магнат», «Затмение» – это на Судоходном...

– «Антарктика», – прибавил Дейл, – тоже была там.

– Да, «Антарктика», – подтвердил Леонард.

– А как насчет радиосвязи? – спросил Арт. – Слышали кого? Из тех, кого не называли?

– Вансе Шёпе, – припомнил Леонард. – Знаете? У него «Провидение». Перекинулись с ним парой слов.

– Так уж и парой, – усмехнулся Марти. – Да я вашу трескотню всю дорогу слышал, до самого верхнего течения. Ну ты, Леонард, и...

– А еще? – перебил шериф.

– «Вожак стаи», – ответил Дейл. – Я слышал Джима Ферри и Хардвелла. «Берген» был на Судоходном...

– Уверен?

– Вроде да, – ответил Леонард. – Ну да, точно.

– А «Магнат»... чье это судно? – спросил Арт.

– Моултона, – ответил Марти. – Прошлой весной купил его у Лейни.

– А «Островитянин»? Это кто?

– «Островитянин» у Миямото, – ответил Дейл. – Вроде у него. Ну, у того, что младше.

– У старшего, – поправил Исмаил. – Кабуо старший. Младший – это Кэндзи. Тот на консервном работает.

– Все они на одно лицо, – рассудил Дейл. – И не разберешь, кто есть кто.

– Ага, японцы эти... – Юваг швырнул окуроч в воду рядом со «Сьюзен Мари».

– Значит, так, – решил Арт, – увидите Хардвелла, Вансе Шёпе, Моултона или кого там еще – скажите, чтобы зашли ко мне побеседовать. Я хочу знать, говорил ли кто из них с Карлом прошлой ночью. Понятно? Чтоб явились все до единого.

– А шериф прямо землю носом роет, – сказал Юваг. – Разве это не несчастный случай?

– Конечно, – ответил Арт. – И все-таки, Уильям, человек мертв. Придется писать отчет.

– Короший человек был, – высказался Ян Сёренсен, говоривший с легким датским акцентом. – Короший рыбак. – И покачал головой.

Шериф убрал ногу со сваи и тщательно заправил рубашку в брюки.

– Абель, – бросил он помощнику, – подготовь катер и жди меня в участке. Я тут пройду с Чэмберсом. Надо обговорить кое-что.

Но только когда они совсем вышли из доков и свернули на Портовую улицу, шериф перестал говорить о пустяках и перешел к делу.

– Послушай, Исмаил, – сказал он, – я знаю, что ты задумал. Ты задумал статью. Шериф Моран подозревает, что дело нечисто, и начал расследование. Так?

– Ну, не знаю, – ответил Исмаил. – Я пока еще ничего не знаю. Надеюсь, что ты введешь меня в курс дела.

– Конечно, введу, – ответил Арт. – Только ты сперва обещай мне кое-что. Ты ни словом не обмолвишься о расследовании, идет? Хочешь сослаться на мои слова? Вот, пожалуйста: Карл Хайнэ утонул в результате несчастного случая. Ну или что-то в этом роде, ты уж сам придумай. Но о расследовании молчок. Потому что нет никакого расследования.

– Хочешь, чтобы я соврал? – спросил шерифа Исмаил. – Состряпал фальшивку?

– Ладно, только давай без протокола, – предупредил шериф. – Да, расследование ведется. Всплыли кое-какие странные, совсем незначительные детали, и они могут означать все что угодно – такова наша позиция на данный момент. Это может быть убийством, непредумышленным убийством, несчастным случаем... чем угодно в буквальном смысле этого слова. Все дело в том, что пока мы ничего не знаем. И если ты раструдишь об этом на первой странице, не узнаем никогда.

– А как же те парни, с которыми ты только что говорил? Сам знаешь, Арт, что они делают. Юваг всем и каждому разболтает о том, как ты вынюхивал убийцу.

– Это другое дело, – возразил Арт. – То ведь слухи, так? А слухи пойдут в любом случае, без всякого расследования. Таким образом мы дадим убийце понять – если, конечно, он существует, – что все это пустая болтовня. Пусть длинные языки поработают на нас – введут его в заблуждение. Да и в любом случае я обязан был задать вопросы. У меня ведь нет выбора. И если кто хочет строить догадки, так ведь то его личное дело, тут уж ничего не поделаешь. Но вот заявлений в газете я не потерплю.

– Похоже, ты уверен, что предполагаемый убийца живет здесь, на острове. Уж не это ли...

– Послушай, – шериф вдруг остановился, – что касается «Сан-Пьедро ревью», то чтобы никаких «предполагаемых убийц». Давай договоримся раз и навсегда.

– Договорились, – ответил Исмаил. – Хорошо, дам твои слова насчет несчастного случая. А ты держи меня в курсе.

– Идет, – согласился Арт. – Если что откроется, первый узнаешь. Ну? Теперь доволен?

– Статью-то все равно писать надо, – ответил Исмаил. – Так что расскажи мне поподробнее про этот «несчастный случай».

– Валяй спрашивай, – дал добро шериф.

Глава 5

Утренний перерыв в заседании закончился. Окружной коронер Гораций Уэйли мягким голосом произнес клятву на судебной Библии и втиснулся за стойку, отведенную для свидетелей. Сжав пальцами дубовые подлокотники, он моргнул, глядя сквозь очки в стальной оправе на Элвина Хукса. По натуре Гораций был человеком закрытым, ему было около пятидесяти, слева на лбу у него расплзлось темное пятно, которое он часто, сам того не замечая, потирал. Внешне Гораций производил впечатление человека аккуратного и педантичного, он был худым, как аист, хотя и не до такой степени, как Арт Моран. Гораций натягивал наутюженные брюки чересчур высоко на узкую талию, а редкие волосы напомаживал, приглаживая справа налево. Глаза у него были навывкате – сказывалась излишняя активность щитовидной железы – и плавали за стеклами очков. Он двигался с видом человека изнуренного, пребывающего в нервном напряжении.

Гораций без малого два года прослужил офицером медицинской службы, участвуя в военных действиях на Тихом океане; все это время он недосыпал и страдал от тропических болезней, что не могло пройти бесследно. Оставленные на его попечение раненые умирали, а Гораций тем временем находился в бессонном забытии и с помутившимся сознанием. В его голове эти раненые и их кровавые раны смешались, превратившись в один повторяющийся сон.

Утром шестнадцатого сентября Гораций сидел у себя за столом и разбирался с бумагами. Днем раньше в доме престарелых скончалась женщина девяноста шести лет; еще одну старуху восьмидесяти одного года смерть настигла, когда та колола дрова, – ребенок, привозивший в тачке яблоки, нашел ее распластанной на колоде, рядом с козой, тыкавшей мордой ей в лицо. Так что, когда зазвонил телефон, Гораций заполнял два свидетельства о смерти, да еще в трех экземплярах каждый. Гораций в раздражении поднес трубку к уху – после войны он не мог одновременно делать несколько дел, а сейчас был очень занят и не хотел ни с кем говорить.

Тогда-то он и услышал о смерти Карла Хайнэ. Тот спасся с затонувшего «Кантона» и, как и Гораций, пережил окинавскую бойню, а все для того, чтобы умереть вот так нелепо, запутавшись в сетях.

Через двадцать минут Арт Моран и Абель Мартинсон внесли брезентовые носилки с накрытым утопленником; из-под покрывала торчали ноги в сапогах. Шериф тяжело дышал, его помощник с искаженным гримасой лицом плотно сжимал губы. Они положили тело на предназначенный для вскрытия стол, лицом вверх. Тело было на манер савана обернуто двумя белыми шерстяными одеялами вроде тех, что выдают на флоте. Война закончилась девять лет назад, но одеял оказалось так много, что на каждой рыбацкой шхуне Сан-Пьедро имелось с полдюжины, а то и больше этого добра. Гораций отвернул край одеяла и, потеряв родимое пятно на лбу, уставился на Карла Хайнэ. Он увидел открытую челюсть; в огромном разверстом рту виднелась застывшая глотка, в которой исчезал язык. Глазные белки покойника были испещрены лопнувшими кровяными сосудами.

Гораций снова набросил одеяло и обернулся к Арту:

– Ну и видок! Где вы его нашли?

– В заливе, на Белых Песках, – ответил Арт.

Арт рассказал коронеру о дрейфующей шхуне, тишине на борту и включенных огнях, а также о том, как они вытаскивали покойника из его же сетей. Как Абель пригнал свой пикап

с носилками, позаимствованными у пожарных, и на глазах у немногих рыбаков, задававших вопросы, они погрузили Карла на носилки и увезли.

– Надо бы заехать к его жене, – добавил Арт. – Не годится ей услышать про такое от других. Так что я съезжу. И сразу же вернусь.

Гораций заметил, что Абелю, стоявшему у стола, стало не по себе от разговоров в присутствии покойника. Правая нога в сапоге торчала как раз напротив Абеля.

– Абель, – позвал Арт, – ты пока останься здесь. Вдруг Горацию понадобится помощь.

Помощник кивнул. И положил шляпу, которую все это время держал в руке, на стол рядом с лотком для инструментов.

– Ладно, – ответил он, – побуду здесь.

– Отлично, – сказал шериф. – Я быстро. Через полчаса, самое большее час вернусь.

Шериф ушел, и Гораций снова устался на Карла Хайнэ, оставив молодого помощника шерифа дожидаться в тишине. Потом прошел к раковине и помыл очки.

– Вот что я скажу тебе, – произнес он наконец, закрывая кран. – Пойди посиди пока в моем кабинете. Полистай журналы, радио послушай, кофе себе налей... там термос стоит. Если нужно будет перевернуть тело и я один не справлюсь, позову тебя. Ну что, согласен, помощник?

– Ладно, – согласился Абель. – Если что, зовите.

Он взял шляпу и пошел.

Совсем еще мальчишка, подумал Гораций. Он насухо вытер очки полотенцем и, будучи человеком брезгливым, надел хирургический халат. Натянул перчатки, высвободил Карла Хайнэ из савана одеял и изогнутыми ножницами принялся методично резать прорезиненную робу, бросая куски в брезентовый мешок. Когда с робой было покончено, он разрезал футболку, затем рабочие штаны Карла Хайнэ, нижнее белье и стащил с ног сапоги и носки, с которых потекла вода. Всю одежду Гораций сложил в раковину.

В одном кармане покойника он обнаружил коробок со спичками, большей частью горелыми, в другом – маленький челнок с хлопчатобумажным шнуром. К поясу штанов Карла была пришита петля, державшая пустые ножны. Ножны не были застегнуты.

В левом переднем кармане покойника лежали часы, стрелки которых остановились в час сорок семь. Гораций опустил часы в конверт из оберточной бумаги.

Гораций отметил про себя, что тело не больно-то оттаяло, несмотря на то что его два часа везли с залива в доки, а оттуда в пикапе к нему в морг. Тело было розового цвета, как мясо лосося, с закатившимися внутрь глазами. Оно отличалось чрезмерной мощностью: большие, тугие мускулы, широкая грудь, четко очерченные четырехглавые мышцы бедер. Гораций невольно подумал, что перед ним лежит исключительный образчик мужественности: рост шесть футов три дюйма, вес двести тридцать пять фунтов, борода, светлые волосы, крепкое телосложение, цельное, как у гранитного изваяния, хотя в линиях рук и плеч было что-то от обезьяны, грубое и животное. Гораций испытал знакомое уже чувство зависти, оценивая размеры полового органа Карла Хайнэ. Обрезанию рыбак не подвергался, а гладкие, без волос яички выглядели упругими. В ледяной воде они подтянулись к телу, а пенис, примерзший к левой ноге, даже в замороженном состоянии был толстым, розового цвета, раза в два больше, чем у самого Горация.

Гораций дважды сухо кашлянул и обошел вокруг стола. Необходимо было настроить себя на то, что Карл Хайнэ, человек знакомый, теперь вовсе и не Карл Хайнэ, а просто покойник. Правая нога покойника примерзла поверх левой, да так крепко, что Горацию пришлось с усилием рвануть, чтобы порвать связки в паховой области.

По работе коронеру приходится заниматься тем, с чем большинство людей никогда не сталкиваются. Вообще-то Гораций был семейным врачом, одним из трех на Сан-Пьедро, и лечил рыбаков, их детей и жен. Поскольку коллег его не привлекала перспектива возиться с мертвецами, как-то само собой получилось, что обязанность эта пала на него. Отсюда и весь

этот опыт Горация – ему доводилось видеть такое, на что большинство людей не в состоянии смотреть. Прошлой зимой привезли краболова, выловленного в заливе: того целых два месяца носило по волнам. Кожа утопленника напоминала мыло: он будто бы целиком был обмазан чем-то вроде серой амбры. На Тараве¹⁰ Горацию случалось видеть тела убитых, упавших лицом в воду на мелководье. Целыми днями их омывало теплым приливом, и постепенно кожа отставала от мяса. Особенно запомнился Горацию один солдат, у которого кожа на руках снялась, точно прозрачные перчатки, даже ногти отошли. Оповестительного жетона у солдата не было, но в распоряжении Горация оказались превосходные отпечатки пальцев, и ему удалось установить личность погибшего.

Горацию приходилось видеть утопленников. В 1949-м он видел рыбака, лицо которого было изъедено крабами и раками. Они основательно поживились мягкими тканями – веками, губами, даже ушами, – так что лицо в этих местах приобрело ярко-зеленый цвет. Такие трупы встречались ему и во время войны в Тихом океане, а еще он видел погибших у берега во время прилива – у этих тела ниже уровня воды сохранялись на удивление целыми, а выше были целиком, до костей, съедены мошкой. Раз он наткнулся на тело – наполовину мумию, наполовину скелет; его нижняя часть, та, что под водой, была начисто обглодана, а спина, иссушенная солнцем, стала коричневой и кожистой. Когда затонул «Кантон», на мили вокруг плавали человеческие останки, на которые не зарились даже акулы. Спасатели их не подбирали, заботясь в первую очередь о живых.

Карл Хайнэ стал четвертым утонувшим рыбаком за все пять лет практики Горация. Еще двое погибли во время осеннего шторма – их вынесло на берег острова Лангидрон. А вот с третьим, вспомнилось Горацию, приключилась занятая история; дело было летом 1950-го, четыре года назад. Рыбака звали Алек Вильдерлинг. Его жена работала машинисткой у Клауса Хартманна, торговца недвижимостью в Эмити-Харбор. Однажды летом, в лунную ночь, Вильдерлинг с напарником поставили сеть и расположились с подветренной стороны рубки распить бутылочку пуэрториканского рома. Потом Вильдерлинг, судя по всему, решил опорожнить мочевой пузырь прямо в морскую воду. И так, с расстегнутыми штанами, и свалился за борт. Напарник, к своему ужасу, видел, как тот трепыхнулся пару раз и над ним сомкнулась посеребренная луной вода. Оказалось, Вильдерлинг не умел плавать.

Напарник Кенни Линден, мальчишка девятнадцати лет, сиганул за ним. Запутавшийся в сетях Вильдерлинг пытался выбраться, Кенни помогал ему. Парню, хоть он и был в подпитии, удалось-таки распороть сеть перочинным ножиком и вытащить Вильдерлинга наружу. Но спасти его уже не удалось.

Любопытным было то, вспомнил Гораций, что в плане чисто теоретическом Вильдерлинг не утонул. Он наглотался порядочно морской воды, однако легкие остались совершенно сухими. Поначалу Гораций, ведя записи, предположил, что у покойного в результате спазма закрылась гортань, предотвратив тем самым попадание воды в нижние дыхательные пути. Но это не объясняло явное растяжение легких, причиной которому должно было быть давление воды, и Гораций пересмотрел первоначальную гипотезу, написав в окончательном отчете, что соленая вода, которой наглотался Алек Вильдерлинг, попала ему, еще живому, в кровь. Формальной причиной смерти Гораций записал аноксию, то есть недостаточное снабжение кислородом мозга, а также серьезные изменения в составе крови.

Стоя над обнаженным телом Карла Хайнэ, Гораций думал, и главным сейчас для него было определить истинную причину гибели Карла, то есть как покойник стал покойником, потому как, напомнил себе Гораций, думать о лежащем куске плоти как о Карле будет неправильно, это лишь затруднит работу. Ведь всего неделю назад ныне покойный заходил к нему, в резиновых сапогах и чистой футболке, может, даже той самой, которую он, Гораций, только

¹⁰ Остров в Тихом океане, где в ноябре 1943-го после тяжелых боев ВМС США одержали победу над японским флотом.

что разрезал хирургическими ножницами. Карл внес на руках старшего сына, шести лет, и показал на рану – мальчик порезал ногу о металлическую распорку перевернутой тачки. Мальчика усадили на стол; отец держал его, а Гораций накладывал швы. В отличие от других отцов, Карл не давал сыну никаких советов. Он лишь крепко держал его, не позволял двигаться; мальчик всхлипнул только при первом стежке, а потом уже сидел, затаив дыхание. Когда Гораций закончил, Карл поднял сына со стола и взял на руки, как младенца. Гораций посоветовал держать ногу повыше и сходил за костылями. Карл, по своему обыкновению, заплатил наличными, достав из портмоне аккуратно расправленные банкноты. Этот суровый бородатый гигант не рассыпался в благодарностях; он молчал, не желая вовлекать себя в правила этикета островной жизни. Горацию подумалось, что такой великан должен стараться выглядеть в глазах других человеком безобидным и миролюбивым, чтобы не вызывать в соседях опасений. И все же Карл никак не пытался смягчить то недоверие, которое естественным образом возникает у человека обычного к человеку физически развитому. Он жил как жил, не задаваясь целью убедить окружающих в своей безобидности. Гораций вспомнил, как однажды видел Карла – тот поигрывал лезвием ножа, то вынимая его, то защелкивая ударом о ногу. Однако нельзя было с уверенностью определить, знак ли это угрозы или что-то нервное, а может, просто проявление удачи. Казалось, у Карла не было друзей. Не находилось никого, кто бы осмелился оскорбить Карла жестом или запросто поболтать с ним о всякой чепухе, хотя, со своей стороны, Карл со многими находился в добрых отношениях. Более того, мужчины уважали Карла за то, что он такой сильный и работающий; Карл хорошо знал рыбацкое дело и выполнял его по-своему ловко и красиво. И все же восхищались им не без опаски из-за могучего телосложения рыбака и его погруженности в себя.

Да, особым дружелюбием Карл Хайнэ не отличался, но ведь и нелюдимым его тоже нельзя было назвать. До войны, еще в школьные годы, Карл играл в футбольной команде и вообще мало чем отличался от сверстников – имел много приятелей, как и все, носил спортивную куртку с эмблемой оленя, был готов поболтать просто так, ни о чем. Таким он был, а потом началась война, та самая, на которой побывал и Гораций. И что тут объяснишь? Что скажешь другим? Не было больше пустых разговоров, чтобы поболтать просто так, за жизнь, и если кто и усматривал в молчании Карла нечто мрачное, что ж, так оно и было. Карл Хайнэ носил в себе этот мрак войны, и он, Гораций, тоже носит.

То есть нет, не Карл Хайнэ, а покойник. Мешок с кишками и прочими частями человеческого тела, а вовсе не отец, совсем недавно приводивший к нему на прием сына. Надо думать именно так, иначе работу не сделать.

Гораций уперся ладонями – одна на другой – в солнечное сплетение и начал надавливать на тело утопленника, будто пытаясь вернуть того к жизни. У рта и губ покойника быстро образовалась пена, похожая на крем для бритья; пена пошла из легких с розоватыми вкраплениями крови.

Гораций перестал надавливать и стал внимательно изучать пену. Он склонился над лицом покойника и всмотрелся. Руки в перчатках все еще оставались чистыми, Гораций ни к чему пока не прикасался, только к прохладной груди покойника, поэтому он взял лежавший рядом с лотком с инструментами блокнот и карандашом сделал пометки о цвете и качестве выступившей пены, которая образовалась в таком изобилии, что могла бы полностью покрыть бороду и усы утопленника. Гораций знал, что пена эта представляет собой смесь воздуха, слюны и морской воды в результате вдоха, а значит, покойник во время погружения в воду был еще жив. Не умер сначала, а уже потом упал за борт, нет. Когда Карл Хайнэ очутился в воде, он еще дышал.

Что же это, аноксия, как у Алека Вильдерлинга, или он просто захлебнулся? Здесь Гораций ничем не отличался от других: он испытывал потребность не просто узнать, но четко представить случившееся. К тому же это было его прямым долгом, поскольку в окружающую книгу регистрации актов смерти должна быть внесена запись правдивая, какой бы горькой правда ни

была. Борьба Карла Хайнэ в темноте, попытки задержать дыхание, вода, заполнившая пустоту его внутренностей, глубокая потеря сознания и последние конвульсии, судорожный вдох в тисках смерти, пузырьки ускользающего воздуха, остановившееся сердце и прекративший работу мозг – все это было, а может, и не было записано в куске плоти, лежащем на столе перед ним, Горацием.

Мгновение Гораций стоял, сцепив руки на животе, и обдумывал, стоит ли вскрывать грудную клетку, чтобы добраться до улик в сердце и легких. Именно в это время он заметил – и как только раньше просмотрел?! – что над левым ухом покойника видна травма черепа.

– Вот черт! – вслух ругнулся Гораций.

Парикмахерскими ножницами он выстриг волосы, чтобы видны были контуры раны. Кость сломалась, и в черепе образовалась порядочная, дюйма в четыре, дыра. Между рваными краями раздвинувшейся кожи виднелась полоска розовых мозгов. Такую рану можно нанести только чем-то узким и плоским, шириной около двух дюймов, о чем красноречиво говорил след на голове покойника. Точно такой же след Гораций часто встречал во время войны на Тихом океане – мощный удар со смертельным исходом наносился прикладом во время рукопашной, лицом к лицу с противником. Японские пехотинцы, обученные кэндо, искусству фехтования на мечях, особенно ловко проводили такой прием. А большинство этих японцев, вспомнилось Горацию, наносили смертельную рану над левым ухом, делая выпад справа.

Гораций вставил в скальпель бритву и ввел в кожу головы. Дойдя до кости, он повел скальпель через волосистую часть головы, описывая полукружие по верху черепа, от уха до уха. Надрез, сделанный твердой, опытной рукой, получился ровный, как карандашом по бумаге, линия прошла по верху головы, образовав плавный изгиб. Гораций отогнул кожу, будто это была кожица апельсина или грейпфрута, и лоскут лба лег на нос.

Таким же образом Гораций отогнул кожу с задней части головы, затем положил скальпель в раковину, сполоснул перчатки, вытер их насухо, после чего достал из шкафчика с инструментами ножовочную пилу.

И приступил к распиливанию черепной коробки. Через двадцать минут Горацию понадобилось перевернуть тело, и он нехотя прошел по коридору. Абель сидел на стуле, закинув ногу на ногу, со шляпой на коленях.

– Нужна помощь, – сказал коронер.

Помощник встал и надел шляпу:

– Конечно, буду рад помочь.

– Не будешь, – ответил Гораций. – Я сделал надрез по верхней части головы. Так что у него открыт череп. И красивого в этом мало.

– Понял, – сказал помощник. – Спасибо, что предупредили.

Они вошли и молча перевернули тело: Абель толкал с одной стороны, а Гораций, перегнувшись, – с другой.

Потом Абеля рвало над раковиной. Когда вошел Арт, Абель уголком платка вытирал рот.

– Ну что еще? – спросил шериф.

Абель в ответ показал пальцем на труп Карла Хайнэ.

– Опять блеванул, – объяснил он шерифу.

Арт глянул на лицо Карла, вывернутое наизнанку, как очищенный апельсин, глянул на кровавую пену у подбородка, похожую на крем для бритья, и отвернулся.

– Вот и я тоже, – сказал Абель. – Не могу видеть такое, прямо нутро выворачивает.

– Да я и не виню тебя, – ответил шериф. – Господи, ну надо же!

Однако стоял и смотрел, как Гораций в хирургическом халате методично работает ножовочной пилой, как вынимает свод черепа и кладет рядом с покойником.

– Это называется *dura mater*¹¹, – пояснил Гораций, указывая скальпелем. – Вот эта оболочка... прямо под черепом... *Dura mater*.

Гораций взялся за голову покойника и с усилием, так как шейные связки уж очень затвердели, повернул влево.

– Подойди-ка сюда, Арт, – позвал он шерифа.

Шериф хотя и понимал, что нужно подойти, однако даже не двинулся. Конечно, подумал Гораций, сам он за время работы уяснил для себя, что иногда неприятных моментов просто не избежать. Тогда лучше действовать быстро и без колебаний; именно так Гораций и взял себе за правило поступать. Но шерифу от природы свойственно было колебаться. Он попросту не находил в себе решимости подойти и посмотреть на Карла Хайнэ с отогнутой кожей.

Гораций понимал, что шерифу не хочется разглядывать внутренности черепа Карла Хайнэ. Он уже видел Арта таким – как тот жует жвачку, морщится, трет губы большим пальцем и задумчиво шурит глаза.

– Дело-то минутное, Арт, – убеждал его Гораций. – Ты только глянь. Это важно, иначе я бы не просил.

Гораций показал на кровавой тромб в твердой мозговой оболочке и на рваную рану, в которую виднелся мозг.

– Удар был сильным, Арт. Нанесли чем-то плоским. Мне это напоминает конец приклада, видал на войне. Как в кэндо, японцы мастера были по этой части.

– Кэндо? – переспросил Арт.

– Фехтование на мечях, – пояснил Гораций. – Их с самого детства учат убивать мечом.

– Мерзость какая, – скривился шериф.

– Отвернись, – предупредил Гораций. – Я сейчас сделаю надрез. Хочу, чтобы ты глянул на кое-что еще.

Шериф медленно повернулся спиной.

– Да ты весь бледный, – сказал он Абелю. – Может, присядешь?

– Нет, я в порядке, – ответил Абель.

Он стоял с платком в руке и глядел в раковину, наваливаясь на нее всем телом.

Гораций показал шерифу три обломка черепа, застрявшие в тканях мозга.

– Он умер от этого? – спросил Арт.

– Трудно сказать, – ответил Гораций. – Может, получил удар по голове, свалился за борт и утонул. А может, ударился головой уже после того, как утонул. Или в воде, но еще живым. Наверняка не знаю.

– А можно выяснить?

– Может, и можно.

– Когда?

– Придется вскрыть грудную клетку. Посмотреть сердце и легкие. Хотя даже это может не помочь.

– В смысле вскрытие грудной клетки?

– Именно.

– А предположения? – спросил шериф.

– Предположения? – повторил Гораций. – Да какие угодно, Арт. Случиться могло все, абсолютно все. Мог быть сердечный приступ, и он оказался за бортом. Мог случиться инсульт. А может, выпил лишнего. Но сейчас меня интересует одно: когда он получил удар, до или после падения в воду. Потому что, судя по пене, – тут он указал на пену скальпелем, – в воде Карл еще дышал. Дышал, когда оказался в воде. Так что пока предположение следующее: он утонул. А травма черепа тому только способствовала. Может, ударился о клюз, такое возможно. Работал

¹¹ Твердая мозговая оболочка (*лат.*).

с сетью, зацепился пряжкой и оказался за бортом. Все это я прямо сейчас занесу в отчет. Но наверняка еще ничего не известно. Вот посмотрю сердце, легкие, тогда и видно будет. Глядишь, все еще переменится.

Арт стоял, потирая губу, и смотрел на Горация, часто моргая.

– А этот удар по голове... Ну... этот удар... странный, правда?

Гораций кивнул:

– Есть немного.

– А может случиться так, что его ударили? – спросил шериф. – Есть такое предположение?

– Что, вообразил себя Шерлоком Холмсом? – усмехнулся Гораций. – Сыщиком?

– Да нет... Шерлока Холмса здесь нет, зато есть Карл с проломленным черепом.

– Что верно, то верно, – согласился Гораций. – С этим не поспоришь.

Потом – и об этом Гораций еще вспомнит во время суда над Миямото Кабуо, об этих своих словах, хотя и умолчит о них во время дачи свидетельских показаний, – он сказал Арту, что если бы он, Гораций, вообразил себя Шерлоком Холмсом, то первым делом начал бы поиски японца с окровавленным прикладом, точнее, японца, бьющего правой рукой.

Глава 6

Гораций потер родимое пятно на лбу и посмотрел в окно на падающий снег. Теперь валил настоящий снегопад; снег падал беззвучно, хотя между чердачных балок завывал ветер. «Мои трубы, – подумал Гораций. – Ведь замерзнут же».

Нельс снова поднялся; он завел большие пальцы за ремни подтяжек и здоровым глазом заметил, что судья как будто дремлет, поддерживая тяжелую голову ладонью, – так он просидел все то время, пока Гораций давал показания. Нельс знал, что судья слушает: за утомленным видом скрывалась энергичная работа ума. Судья имел обыкновение размышлять в полудреме.

Нельс, преодолевая артрит в бедрах и коленях, прошел к месту дачи свидетельских показаний.

– Доброе утро, Гораций, – поздоровался он с Горацием Уэйли.

– Доброе, Нельс, – ответил коронер.

– Вы тут столько порассказали, – заметил Нельс. – И о вскрытии покойного, и о своей работе судебно-медицинского эксперта, которая, конечно же, заслуживает всяческих похвал, о том, об этом... Я слушал вас вместе со всеми, Гораций. И знаете... кое-что для меня осталось неясным.

Он замолчал, ущипнув себя за подбородок.

– Спрашивайте, – нарушил молчание Гораций.

– Ну вот, к примеру, эта самая пена... – начал Нельс. – Что-то я не все для себя уяснил.

– Пена?

– Вы рассказали, как надавили на грудную клетку покойного и через некоторое время изо рта и ноздрей пошла странная пена.

– Да, – ответил Гораций. – Так обычно и бывает. По первому времени пены может и не быть, но как только утопленника начнут раздевать или попытаются сделать ему искусственное дыхание, появляется пена, как правило, обильная.

– И какова же причина? – поинтересовался Нельс.

– Выходит пена в результате давления. А образуется в легких в процессе химической реакции, когда вода смешивается с воздухом и слюной.

– Вода, воздух и слюна, – повторил Нельс. – Но что заставляет их смешиваться, Гораций? Вы говорите о химической реакции... что это такое?

– Все дело в дыхании. Реакция проходит в момент дыхания. Это...

– Вот тут-то я и недопонял, – перебил Горация Нельс. – В смысле, когда вы давали свидетельские показания... Вы говорите, что пена образуется тогда и только тогда, когда есть вода, слюна и воздух. Так?

– Так.

– Но человек утонувший дышать не может, – возразил Нельс. – И как же тогда эта пена... Ну, вы понимаете, что завело меня в тупик?

– Ах, это... Да, конечно, – ответил Гораций. – Попробую вам объяснить. Пена... она образуется на более ранней стадии. Человек погружается в воду и борется за свою жизнь. В конце концов вода неизбежно попадает в дыхательные пути... понимаете?... И в результате воздух в легких под давлением воды вытесняется, что и приводит к выходу пены. Химическая реакция происходит в тот момент, когда тонущий перестает, именно перестает дышать. Или в момент последних вздохов.

– Понятно, – ответил Нельс. – Значит, по этой пене вы определили, что Карл Хайнэ утонул. Так?

– Видите ли...

– Пена говорит вам о том, что он, к примеру, не был сначала убит, скажем, на палубе своего судна, а потом выброшен за борт. Так? Потому что если бы был, то не было бы пены. Я прав? Правильно ли я понял ваше объяснение химической реакции? Она происходит только в том случае, если тонущий в момент погружения в воду дышит. Правильно ли я понял вас, Гораций?

– Правильно, – подтвердил Гораций. – Однако...

– Прошу прощения, – перебил его Нельс. – Одну минуту.

Он двинулся в сторону Элинор Доукс, которая сидела за стенотипом. Прошел мимо, кивнул судебному приставу Эду Сомсу, взял со стола с вещественными доказательствами документ и вернулся к свидетелю.

– А теперь посмотрите, Гораций, – обратился к нему Нельс. – Я прошу вас взглянуть на вещественное доказательство, о котором вы уже упоминали, ваш отчет о вскрытии, который, по вашим же словам, точно отражает ваши выводы и заключения. Будьте так любезны, возьмите отчет и прочтите про себя абзац четвертый на странице четыре; мы подождем.

Пока Гораций читал, Нельс вернулся к столу, где сидел подсудимый, и отпил из стакана воду. Его стало беспокоить горло – голос сделался сиплым и гнусавым.

– Прочитал, – сказал наконец Гораций.

– Хорошо, – отозвался Нельс. – Скажите, правильно ли я понял следующее: в абзаце четвертом на странице четвертой отчета вы пишете, что Карл Хайнэ утонул и именно это стало причиной смерти?

– Да, правильно.

– Значит, вы заключаете, что он утонул?

– Да.

– И у вас нет никаких сомнений?

– Конечно, есть. Сомнения всегда есть. Вы не...

– Одну минуту, Гораций, – перебил его Нельс. – Вы хотите сказать, что ваш отчет о вскрытии неточен? Вы это хотите сказать?

– Отчет точен, – возразил Гораций. – Просто я...

– Вы не могли бы прочесть вслух последнее предложение абзаца четвертого на странице четвертой вашего отчета? – попросил Нельс. – Абзаца, который вы только что читали про себя? Будьте любезны, прочтите.

– Хорошо, – ответил Гораций. – Тут говорится... цитирую: «Наличие пены в дыхательных путях и вокруг губ и носа покойного указывает на то, что тонувший, без сомнения, был жив в момент погружения в воду». Конец цитаты.

– ...без сомнения, был жив в момент погружения в воду? Так, Гораций?

– Именно.

– Без сомнения, – повторил Нельс и повернулся к присяжным заседателям. – Благодарю вас, Гораций, это было важным уточнением. Однако у меня есть еще вопрос. Относительно одной детали в вашем отчете.

– Да, – ответил Гораций, снимая очки и закусывая дужку. – Да, пожалуйста, спрашивайте.

– В таком случае это страница вторая, – указал Нельс. – Вверху. Второй абзац, кажется.

Он подошел к столу, где сидел обвиняемый, и пролистал свой экземпляр отчета.

– Да, абзац второй, – уточнил он. – Второй, точно. Не прочтете ли для всех? Первой строки будет достаточно.

– Цитирую, – сухо начал Гораций. – «Вторая рваная рана, меньших размеров, тянется от складки между большим и указательным пальцами до внешней стороны запястья и имеет недавнее происхождение».

– Порез, – произнес Нельс. – Так? Карл Хайнэ порезал руку?

– Да.

– А как? Есть предположения?

– Нет, но прикинуть можно...

– В этом нет необходимости, – сказал Нельс. – И все же, Гораций, эта рана... В отчете вы указываете, что происхождение ее недавнее. Насколько?

– Я бы сказал, совсем недавнее.

– Совсем... – повторил Нельс. – А именно?

– Совсем недавнее, – повторил Гораций. – Я бы сказал, что он порезал руку в ночь гибели, за час-другой до смерти. Совсем недавно, согласитесь.

– За час-другой? – повторил Нельс. – То есть, возможно, и за два часа?

– Да.

– А за три? Или четыре? Как насчет двадцати четырех часов?

– Нет, только не за двадцать четыре. Рана была свежей. Четыре часа от силы. Но не больше, это точно.

– Хорошо, – сказал Нельс. – Ладно, он порезал руку. Не ранее чем за четыре часа, прежде, чем утонул.

– Так и есть, – подтвердил Гораций.

Нельс снова потянул кожу на подбородке.

– И последнее, Гораций, – сказал он. – Из ваших показаний я недопонял кое-что еще. Рана на голове покойного, о которой вы упомянули...

– Да, – отозвался Гораций. – Да, рана была.

– Не могли бы вы еще раз описать ее?

– Конечно, – ответил Гораций. – Это была рваная рана около двух с половиной дюймов в длину как раз над левым ухом. Кость оказалась проломлена на площади примерно в четыре дюйма. В отверстии раны просматривалась костная ткань. Судя по всему, рана оказалась результатом удара обо что-то узкое и плоское. Пожалуй, это все.

– Удар обо что-то узкое и плоское, – повторил Нельс. – Именно так вы и видели, Гораций? Или же это только догадка?

– Моя работа в том и заключается, чтобы строить догадки, – не сдавался Гораций. – Видите ли, если ночью во время грабежа сторожа ударят по голове ломом, голова и будет выглядеть так, будто ее проломили ломом. Если ударят молотком с круглым бойком, то на голове останется рана серповидной формы. Рана после удара ломом выглядит как, скажем, прямые следы с V-образными концами. Одно дело – удар прикладом оружия, и другое дело – удар бутылкой. Человек падает с мотоцикла на скорости сорок миль в час и ударяется головой о гравий – остаются характерные следы, которые не похожи ни на что другое. Так что да, вот моя догадка, основанная на осмотре покойного, – рана произошла от удара чем-то узким и плоским. Коронер тем и занимается, что строит догадки.

– Пример с мотоциклистом весьма любопытен, – отметил Нельс. – То есть вы имеете в виду, что совсем необязательно чем-то ударять человека, чтобы получилась столь красноречивая рана? То есть если человек наткнется на что-нибудь... скажем, его протаскивает по гравиям... значит ли это, что результатом его самостоятельного движения вперед будет рана упомянутого характера?

– Да, возможно, – ответил Гораций. – Точно сказать нельзя.

– Значит, в нашем случае, – продолжал Нельс, – рана, вызывающая сомнения, та самая рана Карла Хайнэ, о которой вы говорили, может быть результатом либо удара по голове, либо столкновения покойного с чем-то. Так, Гораций? Выходит, оба варианта возможны?

– Нет никакого способа определить, каким образом был нанесен удар, – возразил Гораций. – Нельзя сказать, сам ли покойный ударился или получил удар. Ясно лишь одно – удар был нанесен чем-то плоским, узким и достаточно прочным, чтобы проломить череп.

– Чем-то плоским, узким и достаточно прочным, чтобы проломить череп. Например, планшир? А, Гораций? Как по-вашему, такое возможно?

– Да, возможно. Если только он двигался с достаточной скоростью по направлению к этому планширу. Хотя с трудом представляю себе такое.

– А роульс? Или киповая планка на корме? Они тоже плоские и узкие?

– Да, именно, достаточно плоские. Они...

– Мог он удариться о них головой? Возможно ли предположить такое?

– Конечно, возможно, – согласился Гораций. – Да любое...

– Позвольте спросить кое-что еще, – прервал его Нельс. – Может ли коронер определить, когда возникла такая рана – до смерти или после? Возвращаясь к вашему примеру... можно ли отравить сторожа, убедиться в его смерти и ударить бездыханное тело ломом по голове, оставив точь-в-точь такую же рану, как если бы никакого отравления не было?

– Вы имеете в виду рану Карла Хайнэ?

– Да. Меня интересует, располагаете ли вы какими-нибудь сведениями на этот счет. Получил ли он сначала удар и затем только умер? Или же рана на его голове появилась уже после смерти? То есть он получил ее или, правильнее сказать, его тело получило ее после того, как Карл Хайнэ утонул. Может, он ударился головой, пока его тащили шериф с помощником?

Гораций задумался. Снял очки, потер лоб, затем снова надел, зацепив дужки за ушами, и скрестил руки на груди.

– Не знаю, Нельс, – ответил он. – Чего не знаю, того не знаю.

– То есть вы не можете определить, была ли рана нанесена живому человеку или мертвому? Правильно ли я вас понял, Гораций?

– Да, именно так.

– Но причина смерти в том, что Карл Хайнэ утонул. И в этом нет никаких сомнений, так? Я правильно понял?

– Да.

– Значит, Карл Хайнэ умер не от черепной травмы, так?

– Так. Но...

– Вопросов больше нет, – объявил Нельс. – Благодарю вас, Гораций, у меня все.

Арт, сидевший на галерее, испытывал какое-то особенное удовлетворение, глядя на мучения Горация. Он запомнил это оскорбление – Шерлок Холмс. Помнил также, как вышел из кабинета Горация и помедлил в нерешительности, прежде чем направиться вверх по Мельничному ручью к жене погибшего рыбака.

Арт облокотился о крыло машины Абея, разглядывая руку, поцарапанную утром о пиллерс на судне Карла Хайнэ. Затем стал искать жвачку – сначала в карманах рубашки, потом, слегка раздосадованный, в брюках. Осталось всего две подушечки; восемь он уже сжевал. Арт бросил одну в рот, оставив последнюю, и сел за руль пикапа. Его собственная машина осталась возле доков; он бросил ее там, когда ходил в порт за катером. За рулем пикапа Абея он чувствовал себя полным дураком – уж очень парень расстарался над своей машиной. Высокий «додж» был выкрашен в малиновый цвет в замысловатых полосах, а прямо за блестящим кузовом тянулись декоративные насадки. Словом, это была игрушка старшеклассника. На мате-рике, в городах вроде Эверетта или Беллингема, парни гоняют на таких после футбола или по субботам поздно вечером. Арт подумал, что в старших классах Абель был парнем неуго-

монным, но потом изменился, и от прежних времен осталась только эта машина, с которой он никак не может расстаться. Расстанется, подумал Арт, и очень скоро. Жизнь заставит.

Ведя машину вверх по улице к дому Сюзен Мари Хайнэ, Арт мучительно подыскивал слова и все раздумывал, как ему держаться во время разговора с вдовой. Он решил, что должен продемонстрировать военную выправку с намеком на принадлежность к морской стихии. В речи должна слышаться скорбь, но в то же время и извечная стойкость к превратностям судьбы: «Прошу простить меня, миссис Хайнэ. Я с прискорбием сообщаю, что вчера ночью ваш муж, Карл Гюнтер Хайнэ, погиб в море при трагических обстоятельствах. Позвольте выразить вам соболезнования от жителей всего города и...»

Нет, не годится. Они ведь не чужие. Он каждое воскресенье видит ее в церкви – после службы она разливает в гостиную кофе и чай. Она всегда выглядит безупречно в роли хозяйки – шляпка-таблетка, костюм из твида и бежевые перчатки; Арту приятно было брать чашку кофе из ее уверенных рук. Светлые волосы она закалывала под шляпку; двойная нитка дешевеньких бус под жемчуг украшала шею, цветом напоминавшую ему алебастр. Словом, эта женщина двадцати восьми лет волновала его. Наливая кофе, она обращалась к нему «шериф Моран», после чего показывала указательным пальцем в перчатке на пирог и мятную карамель, стоявшие дальше на столе, как будто он мог не заметить. Потом она мило улыбалась и ставила кофейный сервиз на поднос, а он тем временем брал сахар.

Необходимость рассказать о смерти Карла очень тревожила Арта; сидя за рулем, он пытался подобрать нужные слова, чтобы не бормотать с жалким видом в присутствии этой женщины. Но так ничего и не придумал.

Прямо перед домом семейства Хайнэ дорога расширялась; в этом месте шериф собирал в августе ежевику. Он вдруг остановился у обочины, не готовый к исполнению своих обязанностей; оставив двигатель работать вхолостую, Арт сунул в рот последнюю подушечку жвачки и посмотрел вперед, туда, где стоял дом.

Арту подумалось, что именно такой дом и должен был построить Карл – со стесанными углами, аккуратный, мрачновато-солидный, не отталкивающий, но и не манящий к себе. Дом стоял в пятидесяти ярдах от дороги, построенный на участке в три акра, окруженный люцерной, клубникой, малиной и ухоженными огородными грядками. Карл сам, со свойственной ему быстротой и тщательностью, расчистил участок – древесину продал братьям Торсен, оставшиеся от вырубki сучья сжег, а за зиму успел целиком залить фундамент. К апрелю высадил ягоды и сколотил добротный сарай с двускатной крышей, а с наступлением лета стал возводить стены и скреплять раствором клинкерный кирпич. Он задумывал – так, по крайней мере, поговаривали на собраниях после церковной службы – обзавестись затейливым домом с верандой вроде того, который много лет назад построил отец на семейной ферме в центральной части Сан-Пьедро. Поговаривали, что Карл собирается устроить камин с навесом, ниши, сделать встроенные сиденья у окон, обшить стены деревом, а основание крыльца и низкие стены вдоль главной дорожки выложить известняком. Но в процессе работы Карл понял, что такие затеи ему не плечу – он всего лишь старательный рабочий и талантами художника, как выразилась его жена, не обладает. О деревянной обшивке, к примеру, пришлось совсем забыть; дымоход же, который Карл думал выложить речным камнем, по примеру отцовского, пришлось сделать из клинкерного кирпича. Вот и вышел у него добротный, со стесанными углами дом, крытый кедровой щепой, свидетельство его сдержанной натуры.

Держа ногу на педали тормоза, жуя жвачку и мучаясь, Арт сначала оглядел сад, потом парадное крыльцо с клиновидными подпорками и, наконец, нависающие стропила на двускатной крыше. Он увидел два мансардных окна с навесами, которые, несмотря на изначально задуманную асимметричность, были сделаны в формальном стиле и расположены одно за другим. Арт покачал головой, вспоминая, как однажды ему случилось увидеть дом изнутри: крыши еще не было, на верхнем этаже торчали стропила, а нижний был заставлен громоздкой мебе-

лю Сюзен Мари. Было это в октябре прошлого года, когда приходское собрание проводили у семьи Хайнэ. Теперь же Арт вдруг понял, что ни за что не войдет в дом. Остановится на крыльце, снимет шляпу, сообщит о гибели мужа и уйдет. Арт понимал, что так тоже нехорошо, но что еще ему оставалось? Он попросту не мог, не способен был войти. Потом он позвонит Элинор Доукс, попросит сообщить старшей сестре Сюзен Мари. А сам что? Об этом Арт и думать не хотел. Ну не способен он на то, чтобы сидеть с ней и вместе переживать. Объяснит вдове, что у него дела... срочные дела по работе... сообщит о муже, выразит соболезнования, а там, как человек, знающий свое место, удалится.

Арт доехал до дома и свернул на подъездную аллею; он все еще держал рычаг на нейтральной передаче. Оттуда, поверх подвязанных кустов малины, за верхушками кедров вдоль холма виднелось море. Стояла замечательная сентябрьская погода, такая нечасто балует здешних жителей: на небе ни облачка, и если не стоять в тени, то тепло, как в июне, а вдалеке на солнце поблескивают пенистые гребни волн. Теперь Арт увидел то, чего не замечал раньше: Карл выбрал место для дома не только ради солнца, но и ради вида, открывавшегося с северной и западной сторон. Возясь с малиной и клубникой, Карл краем глаза постоянно видел морскую гладь.

Арт поставил машину позади «шевроле» и заглушил двигатель. В это время из-за угла дома выбежали сыновья Карла: одному мальчику было года три-четыре, а другому, который прихрамывал, лет шесть. Они остановились возле куста рододендрона и уставились на него; мальчишки были в шортах, без рубашек и босые.

Арт вынул из кармана рубашки обертку и плюнул в нее жвачку. Не годится жевать перед вдовой.

– Эй, ребятня, – весело крикнул он через окно, – мама-то дома?

Мальчишки не ответили, просто стояли и глазели. Из-за угла дома показалась немецкая овчарка; она шла крадучись, и мальчик постарше схватил ее за ошейник.

– Стоять! – скомандовал он собаке.

Арт приоткрыл дверцу, взял с сиденья шляпу и надел.

– Полицейский, – вырвалось у младшего, и он спрятался за старшего брата.

– Не, не полицейский, – возразил ему старший. – Это, наверное, шериф.

– Точно, – ответил Арт. – Я шериф Моран, ребята. Так мама-то дома?

Старший подтолкнул младшего:

– Сбегай позови маму.

Мальчики были похожи на отца. Видно, что вырастут такими же огромными. Крепкие, загорелые немецкие дети.

– Вы подите поиграйте, – сказал Арт ребятам. – Я постучу в дверь. А вы идите.

И улыбнулся младшему.

Но мальчики не уходили. Они стояли у куста рододендрона и глядели, как шериф поднимается на крыльцо со шляпой в руке и стучит костяшками пальцев по распахнутой входной двери, через которую видна гостиная. Ожидая ответа, Арт заглянул в дом. Стены обиты сосновыми планками, покрытыми лаком и блестящими в местах распила сучков; занавески ярко-желтого цвета накрахмалены, аккуратно подвязаны к кольцам, присборены и с балдахинном вверх. Шерстяной коврик, связанный косичкой вкруговую, почти полностью покрывает дощатый пол. В глубине комнаты поблескивает пианино и стоит стол с раздвижной крышкой. В комнате два одинаковых кресла-качалки из дуба с вышитыми подушечками, одинаковые столики из ореха по обеим сторонам видавшего виды дивана и обтянутое плюшем мягкое кресло рядом с торшером из позолоченной меди. Кресло пододвинуто к огромному камину, сооруженному Карлом, внутрь которого были вделаны высокие, с пазами железные подставки для дров. Шериф поразился порядку, царившему в комнате, спокойному, тягуче-бронзовому отсвету, от которого веяло чем-то сентиментальным, фотографиям на стене с изображениями членов

семейств Хайнэ и Вариг, живших еще до появления на свет Карла и Сьюзен Мари, – внушительных, дородных немцев с грубо вытесанными лицами, никогда не улыбающихся в объектив.

Гостиная была образцовой – чистой и уютной. Арт мысленно похвалил Сьюзен Мари, как недавно похвалил Карла за печь и мансардные окна. И пока Арт стоял, восхищаясь всем тем, к чему Сьюзен Мари приложила руку, на верхних ступеньках лестницы появилась сама хозяйка дома.

– Добрый день, шериф Моран, – поприветствовала она его.

Арт понял, что Сьюзен Мари еще ничего не знает и что именно ему придется рассказать ей. Но пока он не мог, никак не мог решиться и стоял со шляпой в руке, потирая губы большим пальцем и шурясь; Сьюзен Мари тем временем спустилась.

– Здравствуйте, миссис Хайнэ, – ответил Арт.

– Я как раз укладывала маленькую, – сказала Сьюзен Мари.

Теперь это была совсем другая женщина, непохожая на привлекательную жену рыбака, угощавшую чаем и кофе после церковной службы. Сьюзен Мари спустилась в простенькой юбке, босиком и без косметики, с давно не мытыми волосами; на плече у нее висела пеленка в пятнах от слюней, а в руках была бутылочка.

– Вы к нам по делу, шериф? – спросила она. – Карл пока еще не пришел.

– Потому-то я и здесь, – ответил Арт. – Дело в том, что... у меня для вас плохие известия, миссис Хайнэ. Самые плохие, какие только могут быть.

Казалось, поначалу она не поняла. И смотрела на него так, будто он несет какую-то тарабарщину. Потом стянула с плеча пеленку и улыбнулась. Арту пришлось говорить предельно ясно.

– Карл мертв, – произнес Арт. – Это случилось прошлой ночью на море. Мы обнаружили его утром в заливе Белые Пески. Он утонул, запутавшись в собственной сети.

– Карл? – переспросила Сьюзен Мари Хайнэ. – Нет, не может быть.

– Понимаю, мне бы тоже не хотелось верить. Однако это так. Я пришел сообщить вам.

Странно было видеть ее внезапную реакцию. Сьюзен Мари попятилась, заморгав, тяжело опустилась на нижнюю ступеньку лестницы и поставила бутылочку на пол у ног. Она согнулась, спрятав руки на коленях, и начала раскачиваться; в руках у нее была пеленка, она мяла ее.

– Я знала, что это случится, – прошептала Сьюзен Мари.

Потом перестала раскачиваться и уставилась в пустоту.

– Мне очень жаль, – сказал Арт. – Я... я позвоню вашей сестре, попрошу ее приехать. Вы согласны, миссис Хайнэ?

Но так и не дождался ответа. Еще раз повторив, что ему очень жаль, он прошел к телефону.

Глава 7

В самом конце зала суда сидели двадцать четыре местных жителя японского происхождения, одетые, как и подобало случаю. Разместиться на задних сиденьях их обязывал не закон. Они подчинялись неписаным правилам, бытовавшим на острове.

Их родители и прародители появились на Сан-Пьедро еще в 1883 году. В тот год двое японцев, Японец Джо и Чарльз Хосе, ютились в пристройке неподалеку от Коровьего мыса. Тридцать девять японцев трудились на лесопилке в Порт-Джефферсон, однако во время переписи населения служащий даже не удосужился вписать их имена, попросту черкнув: Япошка № 1, Япошка № 2, Япошка № 3, Японец Чарли, Старый Япошка Сэм, Япошка-весельчак, Япошка-коротышка, Задира, Коридорный и Крепыш. Не имена, а так... клички.

В начале 1900-х годов на Сан-Пьедро появилось еще более трехсот японцев – большинство плыли матросами, а в заливе Порт-Джефферсон прыгали с корабля, чтобы остаться на территории Соединенных Штатов. Многие добирались до берега, не имея при себе долларов, и плутали по острову, питаясь морошкой и грибами мацутаке, пока не попадали в «Маленькую Японию»: три бани, две парикмахерские, две церкви (буддийская и баптистских миссионеров), гостиница, зеленная лавка, площадка для игры в бейсбол, кафе-мороженое, лавка, где торговали тофу¹², и пятьдесят некрашенных хибар, выходивших на грязные улицы. За неделю беглые матросы устроились на лесопилку – складывать древесину, подметать стружку, тягать распиленное дерево, смазывать машины, – все за одиннадцать центов в час.

В учетных книгах компании, отправленных в архив округа, сохранилась запись о том, что в 1907 году на лесопилке в Порт-Джефферсон получили травмы и увечья восемнадцать японцев. Япошка № 107, свидетельствовали учетные книги, двенадцатого марта угодил под лезвие распила и потерял руку; ему была выплачена компенсация за увечье в размере семи долларов восьмидесяти центов. На Япошку № 57 двадцать девятого мая опрокинулись сложенные брусья древесины, и у него произошло смещение правого бедра.

В 1921 году лесопилку разобрали – все деревья на острове скормили пилам, и Сан-Пьедро оголился, только пни торчали. Владельцы лесопилки распродали имущество и уехали с острова. Японцы стали расчищать поля под клубнику, благо клубника на острове росла хорошо и солидных вложений не требовала. Говаривали, только и нужны что лошадь, плуг да орава ребятишек.

Вскоре кое-кто из японцев взял в аренду небольшие участки земли и начал работать на себя. Большинство же были наемными фермерами или издольщиками, трудившимися на полях, принадлежащих хакудзинам¹³. По закону японцам запрещалось владеть землей, пока они не получают гражданство, и закон же гласил, что гражданство они не могут получить до тех пор, пока являются японцами.

Японцы копили деньги в жестянках, затем писали родителям в Японию с просьбами подыскать им жен. Некоторые шли на обман, говоря, что разбогатели, или отправляли свои фотографии в молодости; так или иначе, жены прибывали к ним через океан. Они селились в дощатых бараках из кедра, освещенных масляными лампами, и спали на тюфяках, набитых соломой. В щели задувало. В пять утра и жених, и невеста уже были на клубничном поле.

¹² Соевый творог (*яп.*).

¹³ Европейец, белый человек (*яп.*).

Осенью они, сидя на корточках, выпалывали сорняки или ведрами разливали удобрение. В апреле разбрасывали приманку для улиток и долгоносиков. Обрезали усы сначала у годовалых кустиков, потом у кустов двух- и трехлетнего возраста. Выпалывали сорняки, смотрели, как бы клубника не покрылась плесенью, как бы ее не поразили пенница или грибок, появившийся в сырую погоду.

В июне, когда ягоды созревали, они выходили на поля с широкими неглубокими корзинами. Каждый раз к ним присоединялись канадские индейцы, они тоже работали на хакудзинов. Индейцы спали у края полей, в старых курятниках или сараях. Кое-кто работал на консервном заводе, закручивая клубнику в банки. Индейцы оставались два месяца, на все время сбора клубники, а потом снова уходили.

Но каждый год летом в течение целого месяца приходилось собирать огромное количество клубники. Через час после рассвета опрокидывались первые корзины, и бригадир из белых записывал в тетрадь с черной обложкой цифры против имени каждого сборщика. Он ссыпал ягоды в жбаны из кедра, а рабочие консервной фабрики грузили их на грузовики без бортов. Сборщики шли работать дальше, передвигаясь на корточках по нумерованным грядкам.

В начале июля, после сбора урожая, устраивали фестиваль клубники, и японцам выпадал день отдыха. Выбирали принцессу – молоденькую девушку; хакудзины запекали лосося, команда от Общества добровольных пожарных играла в мяч с командой от Центра японской общины. Садоводческий клуб демонстрировал клубнику в ярко-красных корзинах, а торговая палата вручала приз в соревнованиях на самую красочно украшенную платформу¹⁴. В павильоне танцев в Уэст-Порт-Дженсен вечером зажигали фонари; туристы из Сиэтла валом валили с экскурсионных пароходов, чтобы станцевать польку шведскую, баварскую, шоттиш. На праздник приходили все: сенокосцы, конторские служащие, торговцы, рыбаки, краболовы, плотники, лесорубы, вязальщики сетей, садоводы, старьевщики, дельцы по части недвижимости, наемные писаки, священники, юристы, моряки, животноводы, слесари, водители грузовиков, водопроводчики, заготовители грибов и подрезчики падуба. Они устраивались на пикники в Бёрчиллвилле и Сильван-Гроув и, растянувшись под деревьями, потягивая портвейн, слушали выступление школьного оркестра, игравшего медленные американские марши. Все это, напоминавшее одновременно и вакханалию, и племенной ритуал с приношением даров, и еще не ушедший окончательно традиционный семейный ужин, венчалось коронацией принцессы – непременно юной японки, наряженной в шелк, с тщательно выбеленным рисовой пудрой личиком; церемония проходила до странности торжественно, перед зданием окружного суда, на закате дня. Окруженная полумесяцем корзинок с клубникой, девушка с поклоном принимала корону из рук мэра, обряженного в красную перевязь от плеча до талии и державшего разукрашенный скипетр. В наступавшей затем тишине мэр торжественно объявлял, что министерство земледелия – а у него было с собой письмо – присудило их замечательному острову право именоваться производителем лучшей клубники по всей Америке. Или что королю Георгу и королеве Елизавете во время их недавнего визита в Ванкувер подавали на завтрак клубнику с острова Сан-Пьедро. Тут же раздавались радостные возгласы, и мэр высоко вздымал скипетр, обнимая хорошенькую девушку. Выходило так, что девушка, сама о том не подозревая, становилась посредником меж двумя сообществами, человеческим жертвоприношением, позволявшим празднеству идти своим чередом, без проявлений откровенной неприязни.

На следующий день, обычно в полдень, японцы выходили на сбор малины.

Так и шла жизнь на Сан-Пьедро. Ко времени событий в заливе Пёрл-Харбор на острове уже жили восемьсот сорок три выходца из Японии, включая двенадцать старшеклассников, так и не закончивших учебу той весной. Рано утром двадцать девятого марта 1942 года пятнадцать

¹⁴ Платформа на колесах, на которой размещаются декорации, фигуры и т. д. во время праздничных шествий.

транспортных судов американского ведомства по делам интернированных свезли всех американцев японского происхождения к паромной пристани в Эмити-Харбор.

Их погрузили на корабль, а белые островитяне, поднявшись рано и стоя на холоде, глядели, как изгоняют соседей; среди глядевших находились и друзья, но в основном это были любопытные зеваки да рыбаки на палубах своих судов в заливе. Рыбаки, как и большинство островитян, считали, что изгнание японцев было делом правильным; они стояли на палубах, облокотившись о рубки, убежденные в том, что японцы должны уйти – шла война. А война все меняла.

Во время утреннего перерыва жена подсудимого подошла к тому месту, где сидел ее муж, и попросила разрешения поговорить с ним.

– Только вам придется говорить, сидя сзади, – предупредил Абель. – Мистеру Миямото разрешается обернуться к вам, но и только. Слишком много двигаться ему не позволено.

Все семьдесят семь дней Миямото Хацуэ приходила к трем часам в тюрьму на свидание с мужем. Поначалу она ходила одна и разговаривала с ним через стеклянную перегородку, но потом он попросил жену привести детей. Так она потом и делала – рядом с ней были две девочки, восьми и четырех лет, а мальчика одиннадцати месяцев она держала на руках. Кабуо сидел в тюрьме, когда однажды утром его сын сделал первые шаги; днем Хацуэ принесла сына, и мальчик сделал четыре шага перед отцом, смотревшим на него через стекло. Хацуэ поднесла сына к перегородке, и Кабуо сказал ему в микрофон:

– А ты далеко пойдешь, сынок, дальше, чем я! Уж сделай несколько шагов за меня, ладно? Теперь же, в зале суда, Кабуо повернулся к Хацуэ:

– Как дети?

– Скучают по тебе, – ответила Хацуэ.

– Нельс над этим работает, – сказал Кабуо.

– Я пока отойду, – сказал Нельс. – Да и помощнику Мартинсону тоже не мешало бы. Абель, почему бы вам не смотреть за вашим подопечным на расстоянии? Дайте же людям спокойно поговорить.

– Не могу, – ответил Абель. – Увидит Арт – шею намылит.

– Не намылит, – возразил Нельс. – Можно подумать, вы только и ждете, что миссис Миямото тайком передаст мистеру Миямото оружие. Встаньте хотя бы чуть-чуть дальше, дайте им поговорить.

– Не могу, – стоял на своем Абель. – Правда не могу.

Но он все же незаметно отступил на три фута и сделал вид, что не слышит их разговора. Нельс извинился и отошел.

– А где дети сейчас? – спросил Кабуо.

– У твоей матери. Там миссис Накао. Все нам помогают.

– Ты хорошо выглядишь. Мне тебя не хватает.

– Я выгляжу ужасно, – возразила Хацуэ. – А вот ты – вылитый солдат Тодзё¹⁵. Может, не стоит сидеть так прямо? Ты только оттолкнешь присяжных.

Кабуо посмотрел жене прямо в глаза, и она поняла, что он задумался над ее словами.

– Приятно выбраться из камеры, – наконец произнес он. – До чего же приятно!

Хацуэ захотелось прикоснуться к нему. Ей захотелось протянуть руку и дотронуться до его щеки, коснуться кончиками пальцев его лица. Впервые за последние семьдесят семь дней их не разделяла стеклянная перегородка. Все это время она слышала его голос только через микрофон. Хацуэ так и не обрела спокойствие, она перестала мечтать о будущем. На ночь Хацуэ брала детей к себе в постель и тщетно пыталась уснуть. По утрам к ней заглядывали

¹⁵ Тодзё Хидэки (1884–1948) – японский генерал и политик. На Токийском процессе Тодзё судили как военного преступника и признали виновным по всем пунктам обвинения. Был приговорен к смерти и повешен.

родные и двоюродные сестры, тети и приглашали на обед. Она приходила, потому что ей было одиноко и хотелось слышать голоса других. Женщины готовили бутерброды, пекли пироги, заваривали чай и беседовали на кухне, а дети тем временем играли. Так прошла осень; жизнь в Хацуэ как будто замерла, пребывая в заключении.

Иной раз Хацуэ засыпала днем на диване. Пока она спала, остальные женщины присматривали за ее детьми, и после Хацуэ непременно благодарила их. Однако раньше с ней такого никогда не случалось – заснуть вдруг, когда в доме гости, а собственные дети носятся как угорелые.

Ей исполнился тридцать один год, но ее фигура все еще сохраняла стройность. У нее была твердая походка босоногой крестьянки, узкая талия и маленькая грудь. Часто Хацуэ надевала мужские брюки цвета хаки, серый шерстяной свитер и сандалии. Летом она обычно подрабатывала, собирая клубнику. В такое время руки ее становились красными от сока ягод. В поле Хацуэ надвигала соломенную шляпу пониже – в молодости она этим пренебрегала, и теперь вокруг глаз появились морщинки. Хацуэ была высокой, пяти футов восьми дюймов, но это не мешало ей подолгу сидеть на корточках между клубничных грядок.

Недавно она начала пользоваться тушью и помадой. Нет, тщеславной Хацуэ не была, просто она заметила, что красота ее начала увядать. В свой тридцать один Хацуэ ничуть не переживала, что теряет привлекательность, потому как с годами все отчетливее понимала: в жизни есть нечто гораздо большее, чем необычайная красота, которую в ней всегда отмечали. В юности Хацуэ была ослепительно красива, и красота ее становилась всеобщим достоянием. В 1941 году на ежегодном фестивале клубники ее короновали принцессой. Когда Хацуэ исполнилось тринадцать, мать обрядила ее в шелковое кимоно и отвела к госпоже Сигэмура, обучавшей девочек танцу одори и премудростям чайной церемонии. Хацуэ, усаженная перед зеркалом, с госпожой Сигэмура за спиной, узнала, что волосы ее уцукусии¹⁶ и обрезать их все равно что совершить святотатство. Волосы струились переливчатым ониксом, говорила госпожа Сигэмура по-японски, и сразу бросались в глаза – так бросалась бы в глаза обритая голова девочки ее возраста. Хацуэ узнала, что существует множество способов причесывать волосы: она могла укротить их заколками, заплести в толстую косу, перекинув через грудь, закрутить в причудливый узел пониже затылка или откинуть свободно назад, подчеркивая широкие и гладкие скулы. Госпожа Сигэмура взяла волосы Хацуэ и сказала, что они напоминают ей ртуть и что Хацуэ следует научиться играть своими волосами с любовью, как на струнном инструменте или на флейте. Затем она стала причесывать волосы Хацуэ за спиной, пока они не легли раскрытым веером и не заблестели таинственными черными волнами.

По средам госпожа Сигэмура обучала Хацуэ чайной церемонии, а также каллиграфии и пейзажному рисованию. Она обучала ее правильно располагать цветы в вазе и умело наносить на лицо рисовую пудру в случаях, когда этого требовал этикет. Госпожа Сигэмура отучала Хацуэ хихикать и смотреть на мужчину прямо. Чтобы сохранить цвет лица – а у Хацуэ, по словам госпожи Сигэмура, кожа что ванильное мороженое, – девочка не должна была находиться под прямыми солнечными лучами. Госпожа Сигэмура также обучила Хацуэ красиво петь, сидеть, ходить и стоять. Последнее та усвоила крепко – Хацуэ до сих пор двигалась так, будто ощущала цельность всего тела, от пяток до макушки. В ней чувствовалась цельность и изящество.

В жизни Хацуэ приходилось нелегко – полевые работы, интернирование, снова полевые работы и вдобавок хлопоты по дому, – однако еще девочкой под руководством госпожи Сигэмура она научилась стойко переносить тяготы жизни. В какой-то мере это зависело от умения правильно держаться и дышать, но все же решающее значение имела сама душа. Госпожа Сигэмура научила Хацуэ стремиться к единству с Всеобъемлющей Жизнью, видеть себя листом

¹⁶ Красивые (яп.).

на огромном дереве. Она учила, что неотвратимое умирание осенней порой ничего не значит в сравнении с радостным осознанием того, что являешься частью жизни самого дерева. Американцы, говорила она, боятся смерти, они понимают жизнь слишком узко. Японцы же, наоборот, видят, что жизнь объемлет смерть; стоит только Хацуэ осознать эту правду, как на нее снизойдет спокойствие.

Госпожа Сигэмура учила Хацуэ сидеть неподвижно и внушала, что зрелость наступает только после овладения умением долго оставаться неподвижной. В Америке, говорила наставница, такое дается нелегко, здесь повсюду напряжение и беспокойство. Поначалу тринадцатилетняя Хацуэ не могла вы сидеть и минуты. Потом уже, когда у нее получилось успокоить тело, она поняла, что беспокойным остается ум. Однако постепенно ее сопротивление спокойствию ослабевало. Госпожа Сигэмура была довольна, она утверждала, что беспокойное внутреннее «я» мало-помалу успокаивается. Наставница говорила Хацуэ, что умение оставаться неподвижной пригодится ей в жизни. Она будет пребывать в гармонии с самой собой даже среди неизбежных в жизни перемен и тревожений.

Однако Хацуэ, возвращаясь от госпожи Сигэмура домой лесными тропинками, боялась, что, несмотря на все старания, так и не пришла к согласию с самой собой. Иногда она тратила время впустую, сидя под деревом, срывая венерины башмачки или белые триллиумы и раздумывая о том, что ее так притягивает к себе мир иллюзий, что она так стремится к жизни и развлечениям, красивой одежде и косметике, танцам и кино. Хацуэ казалось, что она обрела лишь видимое спокойствие, вводя тем самым госпожу Сигэмура в заблуждение, тогда как в душе желала мирских утех, и желание это пугало ее своей неодолимой силой. Однако не меньше была и потребность скрыть свою внутреннюю жизнь, и уже в старших классах Хацуэ в совершенстве овладела умением изображать спокойствие, которого на самом деле не было и в помине. Так у нее появилась тайная жизнь, которая тревожила ее и от которой она искала способа избавиться.

Госпожа Сигэмура говорила с Хацуэ открыто и прямо, когда наставляла ее в вопросах природы интимных отношений. Со всей серьезностью предсказательницы она пророчила Хацуэ интерес к ней со стороны белых мужчин и их попытки лишить ее девственности. Наставница утверждала, что в глубине души белые мужчины воделеют чистых японских девушек. Достаточно глянуть на американские журналы и фильмы, говорила госпожа Сигэмура. Кимоно, саке, затян timer рисовой бумагой стены, кокетливые и притворно застенчивые гейши... Белые мужчины мечтают о страстной Японии, о девушках с сияющей глянцевой кожей и тонкими, длинными ногами, идущих во влажной жаре босиком по рисовому полю, и фантазии эти извращают их сексуальные потребности. Они становятся опасными эгоистами, целиком и полностью убежденные в том, что японки боготворят их за бледную кожу и бесстрашие в честолюбивых устремлениях. Держись подальше от белых мужчин, внушала ей госпожа Сигэмура, выходи замуж за мужчину из своего рода-племени, в чьем сердце сила и доброта.

Родители отправили Хацуэ к госпоже Сигэмура для того, чтобы девочка не забыла – прежде всего она японка. Отец, возделывавший клубнику, приплыл из Японии и происходил из клана гончаров, занимавшихся своим ремеслом из поколения в поколение. Мать, Фудзико, родившаяся недалеко от Курэ, в трудолюбивом семействе со скромным достатком, владевшем лавкой и торговавшей рисом, приплыла в Америку на борту «Кореа Мару» как «невеста по фотокарточке». Свадьба была устроена посредством байсакунина¹⁷, сообщившего семье Сибаяма о том, что предполагаемый жених сколотил в чужой стране целое состояние. Однако семейство Сибаяма владело солидным домом и считало, что дочери Фудзико не пристало выходить замуж за наемного работника в Америке. Тогда байсакунин, зарабатывавший на жизнь поставкой невест, показал им двенадцать акров превосходной земли в гористой местности, которую

¹⁷ Человек, профессионально занимающийся сватовством (яп.).

жених собирается купить по возвращении из Америки. На этих акрах росли персики и хурма, высокие, тонкоствольные кедры; около недавно построенного дома были разбиты три традиционных сада камней. Последним доводом байсакунина было желание поехать в Америку самой Фудзико: ей всего девятнадцать, она молода и, прежде чем начать размеренную супружескую жизнь, хотела бы взглянуть на мир за океаном.

Однако всю дорогу Фудзико было нехорошо: она лежала ничком со скрученными кишками, и ее тошнило. Приехав же в чужую страну и сойдя на берег в Сиэтле, она поняла, что вышла замуж за нищего. Обгоревшие на солнце пальцы Хисао были в мозолях, а от одежды разило потом из-за тяжелой работы в поле. Оказалось, у Хисао нет за душой ничего, кроме нескольких долларов и монет; он молил Фудзико о прощении. Поначалу они устроились в общежитии на Маяковом холме; стены были оклеены страницами из журналов, а белые на улицах относились к ним с оскорбительным презрением. Фудзико стала работать в портовой кухне на берегу. Она тоже обливалась потом, тоже изранила себе руки, работая на хакудзинов.

Родилась Хацуэ, первая из пятерых дочерей, и семья перебралась в общежитие на улицу Джексона. Дом принадлежал японскому семейству, выходцам из префектуры Тотиги, на удивление неплохо устроившимся: женщины в этом семействе носили шелковые кимоно и красные тэта на пробковой подошве. И все же улица Джексона провоняла гниющей рыбой, перебродившей капустой и редисом, медленно текущими отбросами в сточных канавах и дизельными выхлопами трамваев. Фудзико три года убиралась в комнатах, пока однажды Хисао не пришел домой с известиями о том, что раздобыл им обоим работу на консервном заводе. В мае семья Имада села на корабль и отправилась на Сан-Пьедро, туда, где была работа на многочисленных клубничных полях.

Работа была тяжелой – на долю Хацуэ и сестер выпадет еще немало такой работы, – приходилось все время наклоняться под палящим солнцем. Но, несмотря ни на что, им было гораздо лучше, чем в Сиэтле: аккуратные грядки клубники тянулись вверх и вниз вдоль долины, ветер доносил запах моря, а пасмурное утро напоминало Японию, которую Хисао и Фудзико оставили.

Первое время они ютились в углу сарая, в котором также жила семья индейцев. Семилетняя Хацуэ работала бок о бок с матерью, собирая в лесу папоротник и обрезаая ветки падуба. Хисао продавал окуня и мастерил венки на Рождество. Они набили монетами и банкнотами мешок из-под зерна, взяли в аренду семь акров пнистой, поросшей завитым кленом земли, купили тягловую лошадь и принялись расчищать поле. Наступила осень, кленовые листья свернулись в кулачки, опали, и дождь прибил их, превратив в красно-бурую пасту. Зимой 1931 года Хисао занимался тем, что жег кучи листьев и выкорчевывал пни. Дом из кедровой филенки поднимался медленно. Наконец земля была возделана и первые посадки проведены как раз вовремя, к тому моменту, когда впервые забрезжил бледный весенний свет.

Хацуэ росла; она собирала съедобных моллюсков на Южном пляже, ежевику, грибы, выпалывала сорняки с клубничных грядок. А еще заменяла мать четверем сестрам. Когда Хацуэ было десять, соседский мальчик научил ее плавать и давал посмотреть в морскую воду через коробку со стеклянным дном. Тихоокеанское солнце грело им спины, когда они на пару припадали к стеклу и наблюдали за морскими звездами и скалистыми крабами. Брызги воды на коже Хацуэ высыхали, оставляя после себя следы соли. И однажды мальчик поцеловал ее. Он спросил, можно ли, но она промолчала; тогда он потянулся через коробку и всего на какое-то мгновение коснулся губами ее губ. Хацуэ почувствовала его теплые, соленые губы, прежде чем мальчик отпрянул и посмотрел на нее, моргнув. Потом они опять разглядывали через стекло актиний, морские огурцы и трубчатых червей. В день свадьбы Хацуэ вспомнит, что первый поцелуй у нее был с этим мальчиком, Исмаилом Чэмберсом, когда они покачивались на волнах океана, глядя в коробку со стеклянным дном. Но муж спросил ее, целовалась ли она с кем-нибудь прежде, и Хацуэ ответила, что нет, никогда.

– Снег так и валит, – сказала она Кабуо, посмотрев из окна зала суда. – Настоящий снегопад. Первый снег в жизни твоего сына.

Кабуо оглянулся посмотреть на снегопад, и Хацуэ заметила с левой стороны шеи толстые сухожилия, повыше того места, где застегивалась рубашка. Сидя в тюрьме, он совсем не потерял свою силу; ему казалось, что источник ее находится внутри него и что сила приноравливалась к меняющимся условиям жизни; в камере Кабуо настроился на то, чтобы сберечь ее.

– Хацуэ, не забудь проверить погреб, – велел он ей. – Не то там все замерзнет.

– Уже проверила, – успокоила она его. – Все в порядке.

– Вот и хорошо, – ответил Кабуо. – Я знал, что ты не забудешь.

Какое-то время он молча смотрел, как падает снег, как снежные иголки залепают окна. Потом снова повернулся к жене.

– Помнишь снегопад в Манзанаре? – вдруг спросил он. – Я вспоминаю то время всегда, когда идет снег. Сугробы, сильный ветер и пузатую печку. И звезды в окне.

Обычно он не говорил жене такие романтические слова. Но, может быть, тюремная камера научила его высказывать то, что при других обстоятельствах он оставил бы при себе.

– Тогда тоже была тюрьма, – сказала Хацуэ. – Было и хорошее, но все равно...

– Нет, не была, – возразил ей Кабуо. – Мы думали так, потому что еще не знали: бывает и хуже. Но тюрьмой это не было.

Хацуэ подумала, что он прав. Они поженились в лагере для интернированных в Манзанаре; церемония проходила в буддийском храме, сооруженном из толя. Ее мать завесила половину тесной комнаты армейскими шерстяными одеялами и выделила им в первую брачную ночь две раскладушки рядом с печкой. Она даже сдвинула их вместе, чтобы получилась кровать, и разгладила простыни ладонями. Четверо сестер Хацуэ стояли рядом и смотрели, как мать молча делает свое дело. Фудзико подбросила уголь в пузатую печку и вытерла руки о фартук. Она кивнула, напомнив, что через сорок пять минут надо будет задвинуть выюшку. Потом вышла, забрав дочерей; Хацуэ и Кабуо остались одни.

Стоя у окна, в свадебных одеждах, они поцеловались; Хацуэ прикоснулась к теплой шее и горлу Кабуо. За окном мело; снег собирался у стены барака.

– Они всё услышат, – шепнула Хацуэ.

Кабуо, не убирая рук с талии жены, повернулся в сторону висевших одеял и сказал:

– По радио наверняка что-нибудь передают. Может, послушаем музыку?

Они подождали. Кабуо повесил куртку на крючок. Немного погодя заиграла музыка с радиостанции из Лас-Вегаса – кантри и вестерн. Кабуо сел, снял ботинки, носки и аккуратно положил их под раскладушку. Потом развязал галстук.

Хацуэ сидела рядом. Она посмотрела на его профиль, на шрам у челюсти, и они поцеловались.

– Помоги мне с платьем, – шепотом попросила Хацуэ. – Оно расстегивается со спины.

Кабуо помог ей расстегнуть платье. Он провел рукой по ее спине. Хацуэ встала и стянула платье с плеч. Платье скользнуло на пол, она подобрала его и повесила на крючок рядом с курткой Кабуо.

Хацуэ вернулась в одних лифчике и трусиках. И села рядом с Кабуо.

– Не хочу, чтобы было много шума, – попросила она. – Сестры все равно услышат.

– Хорошо, – ответил Кабуо. – Мы сделаем это тихо.

Расстегнул рубашку, снял и повесил на край раскладушки. Затем снял майку. Кабуо оказался очень сильным. Хацуэ видела, как играли у него мышцы живота. Она порадовалась, что вышла за него замуж. Он тоже был из семьи, возделывавшей клубнику. Умел обращаться с растениями и знал, какие усы обрезать. Летом его руки, так же как и ее, окрашивались; красный сок пропитывал ладони ароматом клубники. Хацуэ понимала, что отчасти из-за этого аромата и хотела связать свою жизнь с Кабуо; осознание этого родилось у нее в носу, как бы

странно такое объяснение ни звучало. Хацуэ знала, что у них с Кабуо одна и та же цель – они хотели владеть клубничной фермой на Сан-Пьедро. И только, больше ничего – им нужна была своя ферма, любимые люди, живущие рядом, и аромат клубники за окном. Кое-кто из ровесниц Хацуэ, из тех, кого она хорошо знала, верил в иное счастье, стремился в Сиэтл или Лос-Анджелес. Они не могли толком объяснить, почему их так влечет большой город, просто хотели уехать туда, и все. Одно время Хацуэ хотела для себя того же, но теперь она словно пробудилась и осознала, что внутренней природой ей предназначено вести ровную и спокойную жизнь на острове, трудясь на клубничной ферме. Хацуэ инстинктивно догадывалась о своих желаниях и о том, откуда они идут. Она понимала, что будет счастлива в том месте, где работа чиста, где есть поля, на которые она выйдет с человеком, любимым ею осмысленной любовью. То же испытывал и Кабуо, того же хотел от жизни и он. И они строили планы вместе. Когда закончится война, они вернутся на Сан-Пьедро. Кабуо, так же как и она, сроднился с островом, он понимал толк в земледелии и создавал, как хорошо жить среди родных тебе людей. Кабуо оказался тем самым японцем, которого госпожа Сигэмура описывала Хацуэ много лет назад, когда говорила с ней о любви и замужестве, и поэтому Хацуэ поцеловала его, поцеловала крепко. Она поцеловала его лоб, теперь уже нежнее, притянула голову к себе и зарылась лицом в волосы. Волосы пахли сырой землей. Кабуо обнял ее и крепко прижал к себе. Поцеловал чуть выше груди и ткнулся в ткань лифчика.

– Ты так приятно пахнешь, – сказал он.

Выпустив ее из объятий, он снял брюки и положил их рядом с рубашкой. Они сидели рядом, в одном нижнем белье. На ноги Кабуо падал свет из окна, и они блестели. Хацуэ видела, как под трусами у него вздымается пенис, концом приподнимая ткань.

Хацуэ забралась на кровать с ногами, опустив подбородок на колени.

– Они подслушивают, – сказала она. – Я знаю, подслушивают.

– Нельзя ли сделать погромче? – попросил Кабуо. – А то нам здесь ничего не слышно.

Музыка заиграла громче. Поначалу они не двигались. Лежали на боку, лицом друг к другу, и Хацуэ чувствовала его плоть напротив своего живота. Она опустила руку и дотронулась до нее через ткань трусов, коснувшись головки и ободка пониже. Слышно было, как в пузатой печке горит уголь.

Хацуэ вспомнила, как поцеловала Исмаила, прильнув к коробке со стеклянным дном. Он был загорелым мальчиком, жившим по соседству; они вместе собирали ежевику, лазали по деревьям, ловили окуней. Она думала об этом мальчике, в то время как Кабуо целовал ее пониже груди и в соски через ткань лифчика, и поняла, что с Исмаила все и началось: она поцеловала мальчика, когда ей было десять лет, и уже тогда испытала странное ощущение, а сейчас совсем скоро почувствует глубоко внутри себя совсем другого. Но в брачную ночь ей не составило труда избавиться от мыслей об Исмаиле. А что одна мысль все же прокралась, так это по досадному недоразумению – все романтические моменты неизбежно связаны друг с другом, даже если и случались очень давно.

Немного погодя Кабуо снял с жены трусики, расстегнул лифчик, а она стянула с него трусы. На них ничего не осталось; в свете ночного неба, лившемся через окно, Хацуэ отчетливо видела лицо мужа. Это было лицо хорошего человека, с прямыми, гладкими чертами. За окном бушевал ветер, слышно было, как он свистит между щелей в досках. Хацуэ обхватила рукой твердую плоть Кабуо и сжала; она слегка дернулась у нее в руке. Хацуэ уже знала, как это должно произойти: не разжимая руки, она легла на спину, и Кабуо оказался на ней, обхватив руками ее ягодицы.

– Ты когда-нибудь делала это? – шепотом спросил он у нее.

– Никогда, – ответила Хацуэ. – Ты – мой единственный.

Кабуо устроился как раз напротив вожаемого места. На какое-то время он замер, нежно целуя Хацуэ в нижнюю губу. Потом резким, сильным движением притянул Хацуэ к себе,

одновременно входя в нее с такой силой, что она почувствовала шлепок мошонки. Хацуэ всем телом ощущала, что так и должно быть, и подчинилась целиком и полностью. Ее плечи выгнулись, она прижалась грудью к груди Кабуо, и по телу пробежала слабая дрожь.

– Так, Кабуо... – вспомнился ей собственный шепот. – Да, так... хорошо...

– Тадаима аварэ га вакатта, – ответил он. – Теперь я постиг всю глубину красоты.

Через восемь дней он уехал в Кэмп-Шелби, Миссисипи, чтобы записаться в боевую группу 442-го полка. Он должен, просто обязан пойти на войну, убеждал жену Кабуо. Это необходимо, чтобы доказать свою смелость. Это необходимо, чтобы доказать верность Штатам, ставшим родной страной.

– Тебя же могут убить, – возражала ему Хацуэ. – Достаточно и того, что я знаю – ты смелый и верный.

Но Кабуо все равно ушел. Хацуэ не раз пыталась отговорить его, и до свадьбы, и после. Но Кабуо не мог оставаться в стороне от военных действий. И не только потому, что это было для него делом чести, а еще и потому, что у него было лицо японца, говорил он ей. Придется доказывать и кое-что еще, взвалить на себя тяжкую ношу, навязанную этой войной. И если не он, то кто же? Хацуэ поняла, что Кабуо от своего не отступится, и признала за ним эту таящуюся глубоко внутри твердость, это отчаянное стремление сражаться. Та часть души Кабуо, где принимались решения в одиночку, была недостижима для нее. Хацуэ охватило беспокойство не только за него, но и за их будущее. Теперь, когда жизни их так тесно связаны, Хацуэ казалось, что между ними не должно оставаться недомолвок. Это все война, твердила она себе, это все тюремные условия лагерной жизни, гнет обстоятельств и оторванность от дома, именно они стали причиной такой отчужденности. Многие молодые мужчины уходили на войну против воли женщин, очень многие, каждый день. Хацуэ сказала себе, что должна ждать, последовав совету обеих матерей, а не идти против сил, побороть которые невозможно. Ее, как в свое время и мать, подхватило потоком истории, и лучше отдаться воле течения, иначе собственное сердце поглотит ее и она не сможет пережить войну, не получив ран, на что до сих пор надеялась.

Хацуэ скучала по мужу. Она принялась ждать его и за долгий срок овладела искусством ожидания, научившись сдерживать истерию, похожую на то, что чувствовал сейчас Исмаил Чэмберс, глядя на нее в зале суда.

Глава 8

Наблюдая за Хацуэ, Исмаил вспомнил, как они вместе выкапывали «земляные хвосты»¹⁸ под отвесной скалой на Южном пляже...

Хацуэ было четырнадцать; в черном купальнике она шла вдоль берега, неся садовую лопату и железное ведро с ржавым прохудившимся дном. Шла босиком, обходя острые края «морских уточек»¹⁹; прилив схлынул, и на песке остались пропитавшиеся солью пучки травы, блестящие засушенными веерами. Исмаил шел в резиновых сапогах, с садовой лопаткой; солнце жгло ему плечи и спину, высушивая песок, налипший на руки и колени.

Так они прошли с милю, по пути искупавшись. После отлива на прибрежной полосе начали показываться моллюски, выстреливавшие фонтанчиками воды вроде маленьких гейзеров, спрятанных среди водорослей. В нижней части прибрежной полосы фонтанчики выстреливали высоко, на два фута и выше, потом еще раз, уже не так сильно, а затем и вовсе сходили на нет. Моллюски высывались из песка, поднимая шейки и поворачиваясь губами к солнцу; сифоны на концах их шеек блестели. Моллюски расцветали нежно-белым и перламутровым, выглядывая из образовавшейся после отлива трясины.

Исмаил и Хацуэ присели над моллюском, рассматривая сифон и обсуждая подробности его строения. Они сидели тихо, стараясь не делать резких движений, чтобы не вспугнуть моллюсков. Хацуэ поставила ведро; в одной руке у нее была лопата, другой она показывала на темно окрашенную раскрытую губу моллюска, отмечая ее размер, тона и полутона, окружность влажной щели. Хацуэ решила, что им попался «конский» моллюск²⁰.

Им с Исмаилом тогда было по четырнадцать, и они с увлечением отыскивали моллюсков. Стояло лето, и остальное их не больно-то занимало.

Они подошли ко второму сифону и снова присели. Хацуэ, сидя на коленях, выжимала волосы, и соленая вода стекала по рукам. Перебросив волосы за спину, Хацуэ расправила их, чтобы высушить.

– Вот он, – тихо сказала она.

– Здоровенный, – ответил Исмаил.

Хацуэ наклонилась вперед и просунула указательный палец в отверстие сифона. Они увидели, как моллюск вдруг замер и втянул шейку в песок. Хацуэ сунула ему вдобавок ольховый прут; прут погрузился на два фута.

– Он там, – сказала Хацуэ. – Большой.

– Теперь моя очередь копать, – ответил Исмаил.

Хацуэ передала ему свою лопату.

– Ручка расшаталась, – предупредила она. – Гляди, чтобы не сломалась.

Исмаил копнул, и на поверхность поднялись раковины, ветки и морские черви; он вырыл канавку, чтоб не залило приливной водой. Хацуэ, улегшись животом на теплый песок, вычерпывала воду протекавшим ведром; ее ноги были гладкими и загорелыми.

Когда ольховый прут опрокинулся, Исмаил упал на землю рядом с Хацуэ и стал глядеть, как она копает. Показался сифон моллюска; они увидели отверстие, в котором скрылась его

¹⁸ Съедобный морской моллюск.

¹⁹ Ракообразные.

²⁰ Разновидность съедобного моллюска, похожего на «земляной хвост».

шейка. Исмаил и Хацуэ лежали у края ямки; они копали в грязи до тех пор, пока раковина моллюска не показалась на треть.

– Тащим? – предложил Исмаил.

– Лучше подроем под него, – ответила Хацуэ.

Это он научил ее выкапывать съедобных моллюсков. Четыре года они каждое лето охотились за ними, и у Хацуэ стало получаться гораздо лучше, чем у него. Она говорила с такой уверенностью, что у него не оставалось в этом никаких сомнений.

– Крепко засел, – показала она на моллюска. – Потянем сейчас – разорвем на части. Не будем торопиться, покопаем еще. Так лучше.

Когда пора было уже вытаскивать, Исмаил просунул руку как можно глубже, прижавшись щекой к земле, рядом с коленкой Хацуэ. Он был так близко, что видел только коленку и чувствовал запах соли, выступившей на коже.

– Осторожнее, – приговаривала Хацуэ. – Потихоньку, не торопись... Потихоньку...

– Поддался, – пропыхтел Исмаил. – Пошел...

Потом Хацуэ взяла моллюска у него из рук и промыла на мелководье. Потерла раковину ладонью и обмыла длинную шейку и ногу-присоску. Исмаил положил моллюска в ведро. Отмытый моллюск, с виду хрупкий, был крупным, примерно с индюшачью грудку без кости. Исмаил любовался им, вертя в руке. Его всегда изумляла толщина и вес этих моллюсков.

– Да, хорош, – сказал он.

– Большой, – согласилась Хацуэ. – Прямо-таки огромный.

Пока Исмаил забрасывал вырытую канавку, она стояла на мелководье и смывала с ног песок. Приливная волна накатывала на нагретую солнцем прибрежную полосу, и вода была теплой, как в лагуне. Они с Хацуэ сели рядом на мелководье, лицом к глади океана; за ноги цеплялись бурые водоросли.

– Он нигде не кончается, – сказал Исмаил. – Больше всего в мире воды.

– Где-то же кончается, – возразила Хацуэ. – Или попросту замыкается в круг.

– Это одно и то же. Значит, нигде не кончается.

– Но есть же где-то берег, где сейчас прилив, – не соглашалась Хацуэ. – Вот там и кончается.

– Не кончается. Он сливается с другим, и выходит, что они смешиваются.

– Океаны не смешиваются, – заявила Хацуэ. – У них разная температура. И разное количество соли в воде.

– Смешиваются. В глубине, – настаивал Исмаил. – На самом деле это один общий океан.

Он откинулся, опершись на локти, и набросил на ноги прядь водорослей. Потом снова выпрямился.

– Общего океана нет, – продолжала Хацуэ. – Есть четыре: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Они все разные.

– Чем это они разные?

– Просто разные, и все.

Хацуэ откинулась на локти рядом с ним, и волосы ее повисли.

– Просто разные, – повторила она.

– Это не объяснение, – сказал Исмаил. – Вода она и есть вода. Названия на карте ничего не значат. Ты что, думаешь, если переплывешь на лодке в другой океан, то увидишь там табличку, да? Это...

– Говорят, меняется цвет воды, – ответила Хацуэ. – Атлантический – он бурый, ну или вроде того, а Индийский – синий.

– Кто тебе такое сказал?

– Не помню.

– Да ладно, враки все это.

– А вот и нет.

Они замолчали; слышен был только шум набегавших волн. Исмаил физически ощущал сидевшую рядом Хацуэ. Соль в уголках ее губ высохла, и остались следы. Он рассматривал ее ногти, пальцы на ногах, ложбинку внизу шеи. Исмаил шесть лет знал Хацуэ и в то же время совсем не знал ее. Незнакомая часть ее души, та, которую она не открывала, вдруг заинтересовала его.

Уже потом, думая о Хацуэ, Исмаил чувствовал себя несчастным и очень долго, всю весну, раздумывал о том, как бы сказать ей об этом. Целыми днями он просиживал на вершине отвесной скалы, что на Южном пляже, и все думал. Думал и в школе, но так и не придумал, как заговорить с Хацуэ, на ум ничего не приходило. Рядом с ней он чувствовал, что открыться – значит совершить непоправимую ошибку. Хацуэ оставалась закрытой и не давала повода заговорить, хотя вот уже много лет они вместе ходили от школьного автобуса домой, вместе играли на пляже и в лесу, собирали ягоды на одних и тех же фермах по соседству. Детьми они играли с ее сестрами и другими ребятами: Шериданом Ноулзом, Арнольдом и Биллом Крюгерами, Ларсом Хансеном, Тиной и Джин Сювертсенами. Когда им было по девять, дождливыми осенними днями они прятались в дупле кедра и, растянувшись на земле, глядели, как капли бьют по листьям папоротника и плюща. В школе же вели себя так, будто друг с другом не знакомы. Исмаилу непонятно было почему, хотя в то же время он сознавал, что так оно и должно быть, ведь Хацуэ – японка, а он нет. Так было заведено, и ничего с этим не поделаешь.

Ей исполнилось четырнадцать, и под купальником стали угадываться груди, маленькие и упругие, как яблоки. Он не мог толком объяснить, что же в ней изменилось еще, но даже лицо теперь было другое. Другой стала кожа. Исмаил наблюдал за тем, как она меняется; сидя рядом с Хацуэ, вот как сейчас, он испытывал влечение к ней и беспокойство.

Сердце Исмаила отчаянно забилося, в последнее время с ним всегда так бывало в ее присутствии. У него не находилось слов выразить то, что он должен был сказать, язык будто не слушался его. Исмаил не мог больше и секунды вынести, не открывшись ей. Внутри у него росло настойчивое стремление заявить о своей любви. Его завораживала не только красота Хацуэ; он также сознавал, что в их жизни есть нечто общее: этот пляж, эти волны, вот эти самые камни и лес, что за спиной. Эти места принадлежали им и всегда будут принадлежать, а Хацуэ стала их воплощением. Она знала, где искать грибы мацутаке, ежевику и побеги папоротника, они собирали их вместе вот уже несколько лет. Исмаил и Хацуэ не слишком задумывались друг о друге, они просто дружили... до недавнего времени. Теперь Исмаил заболел ею и понимал, что болезнь его так и будет тянуться, пока он что-то не предпримет. Все зависело от него, он должен был решиться. То, о чем он никак не мог спросить, терзало его. Он не мог дольше выносить это и зажмурился.

– Ты нравишься мне, Хацуэ, – признался он, все еще не открывая глаз. – Всегда нравилась.

Она не ответила. Не посмотрела на него, а опустила взгляд. Но, заговорив, Исмаил потянулся ближе, к теплу, исходившему от ее лица, и коснулся ее губ. Губы оказались такими же теплыми, он почувствовал соленый привкус и жар ее дыхания. Исмаил был слишком настойчив в своем поцелуе, и Хацуэ, чтобы не упасть, оперлась рукой о землю. Она потянулась к нему, и он ощутил вкус ее поцелуя. Их зубы соприкоснулись. Исмаил закрыл глаза, потом снова открыл. И увидел, что Хацуэ зажмурилась, что она так и не решается посмотреть на него.

Как только их губы разомкнулись, она вскочила и, схватив ведро с моллюском, помчалась вдоль пляжа. Исмаил знал, что бегала она очень быстро, и встал, только чтобы посмотреть ей вслед. Когда же она скрылась в лесу, он лег в воду и все вспоминал поцелуй. Исмаил подумал, что будет любить Хацуэ всегда, как бы там ни вышло. Это не было осознанным решением, скорее он примирился с неизбежностью любви. Ему стало легче, хотя он и тревожился, чувствуя, что поступил неправильно, не так. Но на его взгляд, на взгляд четырнадцатилетнего

мальчишки, они просто не могли не влюбиться друг в друга. Все началось с того поцелуя в море, когда они качались на волнах, цепляясь за коробку с прозрачным дном, и теперь будет длиться вечность. Он был уверен в этом. И был уверен, что Хацуэ испытывает то же самое.

После Исмаил почти две недели работал. Брался за любую работу, полол сорняки, мыл окна, но мысли о Хацуэ все не давали ему покоя. Казалось, она нарочно не приходит на пляж, и постепенно он сделался мрачным и угрюмым. Исмаил скрепил поперечными рейками натяжную проволоку, к которой миссис Верда Кармайлк подвязывала малину, разобрал содержимое ее сарая с инструментами, в котором царил полумрак, связал кедровые поленья; все это время он не переставал думать о Хацуэ. Бобу Тиммонсу Исмаил помог отскоблить краску от сарая; у миссис Герберт Крау, которая составляла букеты и к матери его относилась с прохладцей, Исмаил прополоснул цветник. Миссис Крау, стоя коленями на подкладке, трудилась рядом с Исмаилом, обрабатывая землю тяпкой. Она то и дело останавливалась вытереть с лица пот и все не переставала удивляться, почему это Исмаил такой унылый. Потом она пригласила его на веранду; они потягивали из высоких бокалов чай со льдом и дольками лимона. Миссис Крау показала на инжирное дерево и рассказала Исмаилу, что посадила его очень давно, так давно, что теперь даже и не помнит; дерево на удивление принялось и стало давать обильный урожай сладкого инжира. Мистер Крау очень любил инжир, добавила она. Потом отпила чай и заговорила о другом. О том, что на семьи, живущие вдоль Южного пляжа, жители Эмити-Харбор смотрят как на самозванных аристократов и бунтарей, народ нелюдимый и чудаковатый, в том числе и на семью Исмаила. Знает ли он, что его дед помогал доставлять сваи для строительства пристани в заливе Южного пляжа? О семействе Папино миссис Крау отозвалась как о голи перекатной, а все потому, что ни один из них не хочет работать. Семья Имада, напротив, отличалась невероятным трудолюбием, даже пятеро их девочек. Эберты нанимали профессиональных садовников и всяких технических мастеров – сантехники, электрики и разнорабочие приезжали в фургонах и делали за хозяев всю грязную работу, – а вот они с мужем всегда приглашали местных. Уже сорок лет, сказала миссис Крау Исмаилу, как они живут здесь, на Южном пляже. Мистер Крау зарабатывал на добыче угля и производстве древесных плит, но недавно занялся кораблестроением и сейчас в Сиэтле финансирует постройку сторожевых кораблей и минных тральщиков для флота Рузвельта, хотя на самого Рузвельта ему плевать, добавила миссис Крау... но что это Исмаил хандрит? Ну-ка, гляди веселей, подбодрила она его, отпивая чай. Жизнь ведь так прекрасна!

В ту субботу Исмаил рыбачил на побережье с Шериданом Ноулзом, и ему все не давали покоя мысли о Хацуэ. Он видел мистера Крау – тот, упершись руками в колени, глядел в телескоп, водруженный на треногу посреди ступенчатой лужайки. С этой удачной позиции он завистливо разглядывал яхты приезжих из Сиэтла, проплывавшие мимо Южного пляжа к якорной стоянке в Эмити-Харбор. Мистер Крау отличался вспыльчивым нравом, а высоким лбом походил на Шекспира. Дом семьи Крау выходил на морские просторы и обдувался ветрами; в саду низкими изгородями росли азалии, были также камелии, миниатюрные китайские розы и подвязанный к шпалерам самшит, сам же сад обрамляли белые барашки вздымающихся волн и прибрежные камни цвета серой окалины. Стена с огромными окнами, прикрытыми ставнями, выходила на солнечную сторону; с трех сторон дом обступали величавые кедры. Мистер Крау никак не мог поделить границу участка с Бобом Тиммонсом, соседом с северной стороны, утверждая, что хвойная роща на самом деле растет на его стороне. Восьмилетним мальчиком Исмаил видел, как однажды утром объявились двое землемеров с теодолитами и угломерами и понатыкали всюду красные флажки. В последующие годы этот ритуал время от времени повторялся, приезжали уже другие землемеры, однако ничего не менялось, разве что деревья вырастали и кончики их ветвей загибались на фоне неба зелеными завитками. Боб Тиммонс, бледный и молчаливый, человек твердого характера и пуританских взглядов, переселенец из гористого Нью-Гэмпшира, взирал на все это с безразличием, уперев руки в боки;

мистер Крау, наоборот, беспокойно ходил взад-вперед и ворчал, а его высокий лоб блестел от пота.

Исмаил работал также и у Этерингтонов, энергичного семейства, прибывавшего на лето из Сиэтла. Каждый год в июне они наезжали *en force*²¹, чтобы занять домик у Южного пляжа, где такой целебный воздух. Приехав, они плавали в своих крошечных парусных шлюпках, меняя курс в зависимости от того, куда подует ветер, красили, копали, мели и сажали, если вдруг у них появлялось настроение поработать с пользой для здоровья, или просто нежились на пляже. По вечерам разжигали костры, ели отварных моллюсков, мидии, устрицы, окуняя; шлюпки оттаскивали за линию прилива, лопаты и грабли, помыв, убирали. Пили Этерингтоны джинс с тоником.

В верхней части залива Миллера, повыше прибрежной полосы, жил капитан Джонатан Содерланд, который каждый год бороздил воды на своем утлом паруснике «Мёрфи», отправляясь в торговый рейс к Северному полярному кругу. Когда капитан стал слишком стар для таких походов, он принялся развлекать своими рассказами приезжавших на лето отдыхающих. Одетый в длинные шерстяные бриджи с выдавшими виды подтяжками, он поглаживал снежно-белую бороду и позировал фотографам у штурвала «Мёрфи», нашедшего постоянный приют в прибрежных песках. Исмаил колотил капитану дрова.

Единственным жизнеспособным предприятием кроме клубничной фермы семьи Имада был питомник голубых песцов, принадлежавший Тому Пеку. В дальнем конце залива Миллера, в тени земляничных деревьев, Том Пек, посасывая трубку, пощипывал свою жгуче-рыжую эспаньолку. Занимался он тем, что разводил американских голубых песцов с блестящей шерстью, рассаживая по шестидесяти восьми тесным клеткам. Жил он в полном одиночестве, хотя этим летом, в июне, Исмаил и еще парочка ребят подрядились чистить у него клетки. Пек жил в собственном мире с его войнами против индейцев, золотоискательством и наемными убийствами; все знали, что он носит с собой небольшой крупнокалиберный пистолет в потайной наплечной кобуре. Дальше вдоль бухты, у заводи в восточной части узкого морского залива Литл Хаус Коув, семья Уэстингхаузов построила особняк в колониальном стиле на тридцати акрах, заросших дугласовой пихтой. Обеспокоенные всеобщим падением нравов на востоке страны – чего стоило одно только дело о похищении сына Линдберга²², – известный промышленник, производивший бытовые приборы, и его высокородная жена из Бостона привезли на уединенное побережье Сан-Пьедро трех сыновей, прихватив также горничную, повара, дворецкого и двоих гувернеров. Однажды Исмаил целый день помогал Дейлу Папино обрезать ветки ольхи, нависавшие над длинной подъездной аллеей Уэстингхаузов; Дейл занимался убирать в домах пяти-шести семейств, приезжавших на лето.

Исмаил с Дейлом чистили также и сточные каналы у Этерингтонов. Исмаилу все казалось, что Этерингтоны пытаются всячески угодить ему, видя в нем колоритного местного жителя, неотъемлемую часть этого очаровательного места. Когда ударяли заморозки или два дня кряду лил дождь, Дейл ковылял от дома к дому с фонариком в руке; он прихрамывал, потому что в сырую, холодную погоду у него болело бедро, поврежденное на креозотовом заводе, и щурился, упорно не желая надевать очки. Дейл возился у гаражей и подвалов, прочищая водостоки, забитые грязью. По осени жег сметенный мусор и сгребал опавшие листья на территории Вирджинии Гейтвуд, маяча там сумеречной порой в тряпичных перчатках и ветхой куртке, потертой на рукавах. Вены у него на щеках лопнули и сплющились, похожие на голубую пасту под кожей; кадык выпирал, как у жабы. Исмаилу он казался огородным пугалом в подпитии.

²¹ Здесь: целой толпой (*фр.*).

²² Одно из самых сенсационных преступлений в истории США, когда был похищен полуторагодовалый ребенок, которого, несмотря на выплаченный выкуп, так и не удалось спасти.

Прошло четыре дня после того поцелуя на пляже; вечером, в наступивших сумерках, когда в лесу уже стемнело, а на клубничных полях еще было светло, Исмаил притаился около дома Имада и стал ждать. Прошло полчаса, но ожидание ему, как ни странно, нисколько не наскучило, и он просидел еще час. Приятно было прижаться щекой к земле и ждать под звездным небом в надежде увидеть Хацуэ. Страх, что его застанут за подглядыванием, побуждал Исмаила уйти, и он совсем уже было собрался, даже привстал, но тут наружная сетчатая дверь со скрипом открылась, на крыльцо упала полоса света и вышла Хацуэ. Она прошла к угловому столбу, поставила на кедровые перила плетеную корзину и стала снимать высохшее белье.

Исмаил глядел, как Хацуэ стаскивала простыни с веревки; она стояла в кругу приглушенного света, лившегося с крыльца, и в таком освещении руки ее казались особенно изящными. Зажимая прищепки зубами, Хацуэ складывала полотенца, штаны, рабочие рубахи и клала их в корзину. Закончив, она на минуту прислонилась к столбу, потирая шею, глядя на звезды и вдыхая свежий запах высохшего белья. Потом подхватила корзину и снова исчезла в доме.

На следующий вечер Исмаил снова пришел; пять дней он неукоснительно соблюдал этот обряд. Каждый раз обещая самому себе больше не ходить, он на следующий же день, когда смеркалось, выходил погулять, и прогулка оборачивалась каким-то паломничеством. Исмаил чувствовал себя виноватым, ему было стыдно, но все же он перемахивал через насыпь, огораживавшую клубнику, и перед ним открывались обширные поля семьи Имада. Исмаил все думал, поступают ли так другие парни, или он ненормальный. Однако ему посчастливилось еще раз увидеть Хацуэ; она снимала белье – одна изящная рука над другой – и бросала прищепки в корзину на перилах, а потом складывала рубахи, простыни, полотенца. Однажды Хацуэ ненадолго задержалась на крыльце отряхнуть платье. Затем ловким движением собрала длинные волосы в узел и только тогда вошла в дом.

В последний вечер слежки Исмаил видел, как Хацуэ вынесла кухонное ведро с очистками и остановилась всего в каких-то пятидесяти ярдах от него; он пригнулся к земле. Хацуэ, как обычно, вдруг показалась на крыльце в полосе света и тихо прикрыла за собой дверь. Когда она пошла в его сторону, сердце Исмаила дернулось и замерло. Теперь он видел ее лицо и даже слышал постукивание сандалий. Хацуэ прошла между клубничных грядок, перевернула ведро над компостной кучей, глянула на луну, голубоватым светом осветившую ее лицо, и вернулась к крыльцу уже другим путем. Исмаил видел, как Хацуэ мелькнула за кустами малины, а потом показалась перед крыльцом, одной рукой закручивая волосы в низкий узел, а в другой неся ведро. Исмаил подождал, и Хацуэ показалась уже в окне кухни, с нимбом света над головой. Пригибаясь, он подкрался ближе и увидел, как она поправляет волосы руками в мыльной пене. На клубничных грядках уже созревали первые ягоды, и их аромат разливался в ночи. Исмаил придвинулся ближе, но тут из-за угла выскочила хозяйская собака; он замер, приготовившись бежать. Собака понюхала воздух, взвизгнула, подползла к нему, позволяя погладить себя по голове, за ушами, лизнула ему ладонь и перевернулась брюхом вверх. Это была старая сука, желтушная, с гнилыми клыками и кривобокая, какая-то жилистая и с выгнутой спиной; она печально глядела слезящимися глазами. Исмаил почесал ей брюхо, и собака вывалила серый язык, свесившийся до земли, грудная клетка ее заходила, вздымаясь и опадая.

Чуть погодя на крыльцо вышел отец Хацуэ и позвал собаку, выкрикнув что-то по-японски. Снова позвал, произнес командо гортанным голосом; собака подняла голову, дважды твякнула, вскочила и, хромя, побежала на зов.

Это был последний раз, когда Исмаил подглядывал у дома Имада.

С началом сезона сбора клубники, в половине шестого, Исмаил повстречал Хацуэ на тропинке, пересекавшей лес у Южного пляжа, – Хацуэ шла под неподвижными кедрами. И он, и она направлялись к мистеру Нитта, платившему щедрее всех на острове – тридцать пять центов за корзину.

Исмаил шел позади Хацуэ, сжимая в руке коробку с обедом. Нагнал ее и сказал: «Привет». Оба и словом не обмолвились о том поцелуе на пляже две недели назад. Они тихо шли по тропинке; Хацуэ сказала, что в такое время можно повстречать чернохвостого оленя, который кормится побегами папоротника, – вчера утром она видела олениху.

В том месте, где тропинка выходила на пляж, земляничные деревья склонялись над прибрежной водой. Стройные и извилистые, оливкового, коричнево-красного, алого и пепельного оттенков, они клонились под тяжестью широких блестящих листьев и бархатистых ягод, отбрасывая тень на прибрежные камни и песок. Исмаил и Хацуэ вспугнули цаплю с перьями песочного цвета. Цапля издала пронзительный крик и взлетела, расправив крылья с широкими перьями на концах, изящная даже во внезапном полете, спланировала над заливом Миллера и села в отдалении на засохшей верхушке дерева.

Тропинка петлей огибала мыс и сбегала к болотистой местности под названием Чертова яма – низкий туман окутывал саваном душистую малину и заманиху, до того было сыро в этой низине, – потом взбиралась среди кедров и отбрасывавших тень елей и, наконец, спускалась в Центральную долину. Давно стоявшие здесь фермы – Андреасонов, Ульсенов, Маккалли и Коксов – приносили хороший доход; земля вспахивалась при помощи быков, потомков тех самых животных, которых перевезли на Сан-Пьедро еще во времена заготовок древесины. Это были огромные, едко пахнущие серовато-белые быки; Исмаил и Хацуэ остановились поглядеть на одного быка, который чесал задние ноги о столб забора.

Когда они добрались до фермы, там уже трудились канадские индейцы. Миссис Нитта, маленькая женщина с тонкой талией, носившая соломенную шляпу сборщицы, сновала между грядок взад-вперед, как колибри. Во рту у нее, как и у мужа, было полно золотых коронок, и, когда она улыбалась, зубы посверкивали на солнце. Днем миссис Нитта сидела под брезентовым зонтом, разложив на кедровом ящике счета; в одной руке она держала карандаш, другой подпирала голову. Почерк миссис Нитта был безукоризненным – маленькие округлые красивые циферки заполняли страницы. Писала она вдумчиво, не торопясь, как судебный писарь, часто затачивая карандаш.

Исмаил и Хацуэ разделились – каждый присоединился к своей компании. Ферма была такой большой, что в разгар сезона нанимали старенький школьный автобус, подвозивший сборщиков к пыльным воротам. На полях царила атмосфера прямо-таки фанатичного упорства в работе, сбор урожая сопровождался весельем – трудились школьники, у которых только что закончился учебный год. Работа была детям в радость: можно было пообщаться друг с другом, да и сам сбор урожая казался им частью летних каникул. Яркое солнце, вкус клубники во рту, легкая болтовня и деньги, которые можно потратить на газировку с сиропом, фейерверки, рыболовную наживку и косметику, манили подростков на ферму мистера Нитта. Целый день под палящим солнцем они тесными группками сидели на корточках между грядок. Там же начинались и заканчивались романтические отношения; подростки целовались на краю поля или в лесу, по дороге домой.

Исмаил, работавший через три грядки, наблюдал за Хацуэ. Ее волосы расплелись, а ниже шеи выступил пот. Клубнику Хацуэ собирала умело, все знали о том, как быстро и ловко она работает – в то время как у других набиралось по полторы корзины, она умудрялась собрать две. Хацуэ работала рядом с подругами – стайкой склонившихся над грядками японок, чьи лица закрывали соломенные шляпы, – и ничем не выдавала своего знакомства с Исмаилом, когда он проходил мимо с наполненной доверху корзиной. Он снова прошел рядом с ней и заметил, до чего она была поглощена работой – собирала ягоды хоть и без спешки, но не останавливаясь. Исмаил согнулся над кустиками в трех грядках от нее и попытался сосредоточиться на работе. Глянув как-то на Хацуэ – она отправляла в рот ягоду, – он засмотрелся. Хацуэ повернулась, и они вдруг встретились взглядами, но Исмаил не мог разобрать, что она почувствовала в этот момент, и ему показалось, что так вышло случайно, что она этим ничего

и не думала сказать. Отвернувшись, Хацуэ отправила в рот еще одну ягоду, медленно, без тени смущения. Устроившись на корточках поудобнее, она вернулась к своей методичной работе.

Ближе к вечеру, в половине пятого, над полями нависли тяжелые тучи. Яркий июньский день окрасился в мягкие серые тона, и с юго-запада подул легкий ветерок. Запахло дождем, повеяло прохладой; воздух сделался плотным, и внезапный порывистый ветер обрушился на кедры с краю полей, мотая их ветки. Сборщики, выстроившись в очередь, торопились сдать последние корзины с ягодами, а миссис Нитта под зонтом ставила галочки напротив имен и выдавала деньги. Сборщики тянули шеи, вглядываясь в тучи, и выставляли ладони, проверяя, не начался ли дождь. Поначалу упали всего несколько крошечных капель, подняв маленькие облачка пыли, потом небеса как будто прорвало, и летний дождь хлынул прямо в лица сборщикам. Те бросились врассыпную, лишь бы укрыться, неважно где: на пороге сарая, в машине, под навесом для хранения ягод, в кедровой роще. Кто-то стоял, подняв над головой корзину с ягодами, которую заливало дождем.

Исмаил увидел, что Хацуэ перебежала верхнее поле и скрылась в кедровой роще. Он вдруг понял, что и сам двинулся следом, сначала медленно, шагая среди клубники, под теплым дождем, приятно бившим в лицо (он уже успел вымокнуть, так что теперь ему было все равно), потом уже бегом через лес. Тропинка от Южного пляжа, закрытая кедровым пологом, отлично укрывала от дождя, и ему захотелось пройти до дома с Хацуэ, пусть даже и молча, если таково будет ее желание. Но когда Исмаил уже за фермой Маккалли увидел Хацуэ, он перешел на шаг и следовал за ней на расстоянии. От потоков дождя было шумно, да к тому же он и не представлял, что скажет ей. Достаточно уже и того, что он видит Хацуэ, как видел на полях или когда прятался на ферме. Он пойдет за ней следом, слушая, как дождь барабанит по листве, а она тем временем будет все приближаться к дому.

Там, где тропинка выбегала к заливу Миллера, где росла стена жимолости, только-только отцветшей, сплетавшейся с морошкой, и доцветал дикий шиповник, Хацуэ углубилась в лес. Исмаил пошел следом, через лощину, заросшую папоротником, по зеленому ковру, расцвеченному белыми цветками ипомеи. Упавший ствол кедра, увитый плющом, мостом перекинулся через лощину; Хацуэ скользнула под ним и свернула на боковую тропинку, уводящую к мелкому ручью, где три года назад они пускали кораблики. Трижды свернув, Хацуэ по бревну перешла через ручей, взобралась по заросшему кедрами холму и нырнула в дупло дерева, в котором они играли, когда им было всего-навсего девять лет.

Исмаил присел на корточки под ветвями деревьев и с полминуты смотрел на расщелину дупла. Мокрые волосы лезли ему в глаза. Исмаил все раздумывал над тем, что же привело Хацуэ сюда, сам он давно позабыл об этом месте, находившемся не меньше чем в полумиле от его дома. Ему вспомнилось, как они устилали землю в дупле мхом и потом валялись там, глядя вверх. Встать во весь рост в дупле не получалось, но вот сидеть на коленях и даже лежать было можно. Вместе с другими детьми они забирались в дупло, представляя, будто это их укрытие, и перочинными ножиками затачивали ольховые прутья, чтобы обороняться. В дупле скопился целый арсенал стрел – поначалу для воображаемых битв, потом для сражений друг с дружкой. Из бечевки и тисовых прутьев они мастерили небольшие луки; дупло дерева служило им чем-то вроде форта, они носились вверх-вниз по склону, стреляя друг в друга. Исмаил сидел и вспоминал, как они играли на этом склоне в войнушку и как в конце концов отвадили этим от себя девчонок, сначала Тину Сювертсен, а там и сестер Имада... Тут он увидел, что Хацуэ смотрит на него из расщелины дупла.

Исмаил оглянулся; таиться не было смысла.

– Давай лучше сюда, – позвала она его. – Дождь ведь.

– Ага, – отозвался он.

В дупле Исмаил сел на мох; с него капала вода. Хацуэ сидела в мокром платье, рядом с ней лежала шляпа с широкими полями.

– Ты ведь следил за мной, так? – спросила она.

– Я не специально, – оправдывался Исмаил. – Так... само собой вышло. Вообще-то я домой шел. Ну, увидел, что ты свернула, вот и... Ты уж извини. Извини, что так получилось.

Хацуэ заправила выбившиеся пряди волос за уши.

– Я вся промокла, – сказала она. – Хоть выжимай.

– Я тоже. Но вообще-то ничего. По крайней мере здесь сухо. Помнишь это дупло? Кажется, будто оно было больше.

– Я приходила сюда время от времени, – сказала Хацуэ. – Подумать. Здесь никого не бывает. За все эти годы ни души не видела.

– А о чем ты думаешь? – спросил Исмаил. – В смысле, когда приходишь сюда. О чем думаешь?

– Ну, не знаю... Обо всем. Просто место такое... где можно подумать.

Исмаил лег, положив голову на руки, и посмотрел в расщелину на дождь. Дупло отгораживало от внешнего мира. Исмаилу казалось, что здесь их никто бы не нашел. Внутри ствол блестел и отсвечивал золотым. Удивительно, до чего много зеленоватого от листвы света проникало сюда. Капли дождя эхом отдавались под шатром листьев, барабанили по папоротнику, вздрагивавшему от каждой капли. Дождь создавал ощущение еще большей уединенности – ни один человек не зайдет сюда, ни один не отыщет их в дупле дерева.

– Ты уж извини за тот поцелуй на пляже, – сказал Исмаил. – Давай забудем об этом. Как будто ничего и не произошло.

Хацуэ ответила не сразу. Это было так похоже на нее – отвечать не сразу. Исмаил всегда испытывал потребность что-то сказать, даже если слова давались ему с трудом, однако Хацуэ, казалось, свойственно было молчание особого рода, какого сам он в себе не чувствовал.

Она взяла шляпу и стала смотреть на нее.

– Не стоит извиняться, – ответила она, смотря в землю. – По-моему, просто не за что.

– Я тоже так думаю, – согласился Исмаил.

Хацуэ легла на спину рядом с ним; на лице ее заиграли зеленоватые блики. Исмаилу захотелось прижаться к ее губам и оставаться так вечно. Теперь он знал, что может сделать это без всяких сожалений.

– Как ты думаешь, в этом есть что-то дурное? – спросила его Хацуэ.

– Другие так думают, – ответил Исмаил. – Твои подруги, например, – прибавил он. – И твои родители.

– Твои тоже, – ответила Хацуэ. – Мать и отец.

– Твои все-таки больше, чем мои, – возразил Исмаил. – Узнай они, что мы здесь, в этом дупле, вместе... – Он тряхнул головой и усмехнулся: – Твой отец наверняка прирезал бы меня. Разрубил бы на тысячу маленьких кусочков.

– Может, и нет, – ответила Хацуэ. – Но рассердился бы не на шутку, это уж точно. На обоих, за то, что мы тут делаем.

– А что мы такого делаем? Просто разговариваем.

– Все равно, – не соглашалась Хацуэ. – Ты ведь не японец. Да и я тут с тобой одна.

– Ну и что? – возразил Исмаил.

Они лежали и разговаривали, так прошло полчаса. Потом они снова поцеловались. Целоваться в дупле было приятно, и они целовались еще полчаса. Снаружи шел дождь, они лежали на мягком мхе; Исмаил закрыл глаза, глубоко вдыхая ее запах. Он решил, что никогда еще не был так счастлив, и его пронзила легкая грусть – то, что он испытывает сейчас, ему больше никогда не испытать, никогда в жизни.

Глава 9

Исмаил сидел в зале, где шел суд над мужем Хацуэ, обвиняемым в убийстве. Хацуэ разговаривала с Кабуо; Исмаил поймал себя на том, что наблюдает за ней, и отвернулся.

Перерыв кончился, вернулись присяжные заседатели, судья Филдинг, и к месту дачи свидетельских показаний прошла мать Карла Хайнэ. Несмотря на десять лет жизни в городе, она так и осталась фермерской женой: тучная увядшая женщина с обветренной кожей. Усевшись, Этта поправила свой пояс, так что послышался хруст и шелест ее нижнего белья из плотного нейлона; бандаж, поддерживающий спину, Этта купила в магазине Лотти Опсвиг по рецепту врача из Беллингема – она страдала от ишиаса, приобретенного за годы работы на ферме. Двадцать пять лет она выходила в любую погоду, работая рядом с мужем, Карлом-старшим. Зимой, когда изо рта вылетал пар, она надевала сапоги, пальто, а голову обвязывала шарфом, затягивая узел под тяжелым подбородком. В шерстяных перчатках без пальцев, которые она вязала поздно вечером в постели, когда Карл уже храпел, Этта садилась на стул доить коров. Летом она сортировала ягоды, обрезала усы клубники, выпалывала сорняки и присматривала за индейцами и японцами, каждый год нанимавшимися собирать ягоды.

Этта родилась в Баварии, на молочной ферме неподалеку от Ингольштадта, и до сих пор говорила с акцентом. С будущим мужем она познакомилась, когда тот пришел на ферму ее отца, выращивавшего пшеницу около Геттингера в Северной Дакоте. Она сбежала с Карлом, и на поезде (Этта помнила завтрак в вагоне-ресторане) они добрались до Сиэтла, где Карл два года работал в литейном цехе и еще год грузил древесину на побережье залива. Этте, дочери фермера, Сиэтл понравился. Она работала швеей на Второй авеню – шила клондайкские куртки. На Рождество они съездили на Сан-Пьедро, где у отца Карла, крупного мужчины, была клубничная ферма. Когда Карлу исполнилось семнадцать, он покинул отчий дом, пустившись на поиски приключений, но после смерти отца, уже с Эттой, перебрался обратно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.